

Нина Катерли

ОЖНО



Нина Катерли

ОЖИО

рассказы



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ  
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 1981



«Окно» — первая книга Нины Катерли. Ее рассказы открывают перед читателями окно в мир нашей обыкновенной, сегодняшней, реальной жизни, полной близких всем современным людям проблем, тревог, напряженного чувства времени и ответственности перед ним. Но кроме знакомого, узнаваемого, читатель видит через это окно и мир вымышленный, в котором повседневная жизнь обретает формы фантастические, сказочные, заставляющие по-новому понять привычное и примелькавшееся и удивиться ему.

Рассказы Н. Катерли публиковались в журналах «Нева», «Аврора», «Костер», «Спутник», в альманахе «Молодой Ленинград».

*ХУДОЖНИК ЕЛЕНА ЧЕХАНОВЕЦ*



«Дорогу осилит идущий» — так называлась вторая часть воспоминаний Василия Ивановича Ехалова, директора завода, — ну да, на заслуженном отдыхе, будь он пеладен, но все равно о человеке следует судить по делу, которому отдана жизнь, а не по тому,

чем он занимается, когда давно перевалило за седьмой десяток. Тут уж все вроде одинаковы... Все да не все: кто вот вспоминает для новых поколений, как прошел ее, свою единственную дорогу, думает, осмысливает, а кто киснет по поликлиникам, убивает на ерунду последние дни... А если вдуматься, в жизни — все последнее, с самого начала; что бы человек ни делал, все он делает в первый и в последний раз. Да. А молодые теперь, бывает, хуже стариков, ни о чем подумать не хотят, плывут по течению... Крякнул Василий Иванович, заворочался в кресле у письменного стола, жирной чертой подчеркнул только что выведенный заголовок. Первую часть отдал вчера соседу Галкину, тот обещал, как прочтет, отвезти в город, машинистке.

Исполнительный мужик этот Галкин: что ни поручишь, все сделает, и просить не надо — сам предложит. Однако главную свою просьбу к соседу Василий Иванович пока берег и держал про себя, хотя подходило уже время, и сколько ни думал Ехалов, а лучшей кандидатуры, чем Галкин, для выполнения этого последнего и важного задания не находил.

Вот и те растения — название опять из головы — сосед привез откуда-то из Хабаровского края, посадил у себя на участке и Ехаловым предложил. За лето вымахали здоровенные плети, разрослись вокруг веранды,

стало точно как в тропическом лесу. Пес их разберет, что за растения, землю они, говорят, осушают, да ладно о растениях, январь на дворе, снегу — по окна, до лета еще дожить надо и все успеть оформить, как следует.

«...Осилит идущий». И точно, что идущий, тот, кто раз навсегда выбрал себе дорогу и одолевает — ухаб за ухабом, подъем за подъемом, прямо идет, не останавливаясь и не выглядывая обочину, где можно отсидеться и посмотреть, куда другие пойдут. Для каждого главная его дорога — одна, и хорошо, если кто это понимает и живет сразу набело, так что потом вот, в семьдесят с лишним, оглянувшись назад, ни одного бы дня не вынул, ничего не постыдился, что бы они теперь ни пытались мазать черным. Что они понимают, молокососы, — началась бы новая жизнь, и опять бы прошел ее тем же путем, в том же строю.

А между тем печка-то остыла, холод в комнате собачий, обеда — это уж точно! — в доме нет, а деньги идут, уходят денежки неизвестно на что. Вот где, например, сейчас Ванька, когда работа его в Доме быта двадцать минут назад уже кончилась? .. «Дом быта»! .. Недоступно понимаю, с чего бы у одного человека могли вырасти таких два разных сына. Старшим, Борисом, можно вполне законно гордиться: все парень делает как следует, за что ни возьмется. В сорок лет вот-вот докторскую защитит, но звание — это одно, главное — не кем человек вырос, а каким, и не в том, конечно, дело, что Иван работает в шараге — понятно: здоровье плохое, несчастье с юности всю жизнь ему переломало, но почему все несчастья — на него? Почему ни семьи, ни друзей, что в руки ни возьмет — все вкривь да вкось, тарелку разбил из ГДР, саксонскую, а сколько их за последний хотя бы месяц, этих битых тарелок, чашек, обгоревших кастрюль! Да где он, черт бы его побрал, шляется? Никакого внимания к отцу, никакой заботы, мысли нет, что старый

человек целый день один дома без помощи! И не в том дело, что старый, а... безответственности!

Запыхтел директор, опять заворочался в своем кресле и вывел первую строку второй части: «Эшелоны шли на Урал день и ночь...»

А непутевый директорский сын Иван шел тем временем по темной заснеженной улице, тихой и нежилой в эту зимнюю пору, потому что застроена она была дачами, где селились на лето ясли и детские садики, а с сентября по июнь пустовали дома, и только ехаловский дом да соседний, пенсионера Галкина, светились по вечерам желтыми окошками.

Иван, и вправду, задержался сегодня, звонил с почты в город брату. Борька, как всегда, отнесся очень внимательно и обещал в ближайшие дни привезти к отцу труднодоступного профессора — слабел старик прямо на глазах, хоть и не хотел признавать, все хорохорился, покрикивал директорским своим командным голосом.

Тонкие морозные снежинки слюдой поблескивали в воздухе, белая луна обведена была морозным кругом... Если честно сказать, не хотелось Ивану идти домой, совсем не хотелось, хоть и знал, что чем дольше задержится, тем больше разъярится отец и все припомнит — и тюрьму, и суму, то бишь Дом быта, и Катерину эту... Зашел Иван сегодня на почту еще и потому, что обещал ей позвонить, но в последний момент вдруг подумал: ей только позвони — завтра же примчится сюда, все свои дела бросив, и будет смотреть в глаза, точно Альфа, когда выцыганивает кусок. Представил это и звонить не стал. Пусть обижается. Пообижается и отстанет. Вот живет человек не реальной, а придуманной классиками жизнью и других хочет заставить играть в эту литературу. Его, Ивана, сочинила эдаким одиноким страдальцем, который в поисках душевного тепла должен был в ответ на

книжные чувства броситься ей на грудь и рыдать от благодарности, как бездомная собака, которую наконец приютили. Одинокого нашла! У него — отец и брат, не каждый может похвалиться таким братом, даже старик при всей своей суровости только и бывает в духе раз в месяц, когда Борис приезжает из города. Ладно. Бог с ней, с Катериной.

С шести до семи Иван занимался обедом: разогревал вчерашний суп и варил макароны, потом в полной тишине (отец сегодня наказывал молчанием) они поели, потом Иван мыл посуду в тазу и, как всегда, безнадежно думал, что как бы хорошо, если бы уборщица из их Дома была хоть два раза в неделю приходила, чтобы готовить и убирать. Уборщица была согласна, но отец отказался раз и навсегда и очень еще разозлился: «Барство. Два мужика неспособны себя обслужить. Ты что, на этой своей «службе» перегружен? На фронте вон солдат — сам себе и прачка и портной...» — и пошел, и пошел.

А обслужить себя давно уже не мог, приходилось Ивану и стирать, и обед варить, и уборку делать. Проскакивали дни один за другим в домашних этих делах, и так целых пять лет.

Сейчас зима, летом было веселее, летом брат приезжал почаще, жаль, что надолго задерживаться нельзя ему было — и на работе вечно занят, и семья. Зато каждый Борькин приезд — в доме праздник, всегда натащит им с отцом, как маленьким, подарков, привезет каких-нибудь невероятных конфет, все, что поломано, перечинит, летом — за день огород перекопает. И чего он только не умеет! Это уж точно: если человек талантлив, так во всем.

...Итак, с шести до семи — обед. Потом — накормить Альфу, хоть она и так нахватала со стола, отец каж-

дый второй кусок — ей, отчего и пол весь в жирных пятнах. В семь отец заснул, Иван прилег тоже, знобило и почитать хотел, но не тут-то было: явился сосед Галкин, важный толстый старик, адвокат, отцов любимый друг. Иван с большим удовольствием оставил их вдвоем. Сначала они долго галдели за стеной, обсуждали первую часть воспоминаний, и Галкин все восклицал: «Весьма капитальный труд! Полотно народной жизни!» — а потом начали шептаться и бормотали до самой ночи. Уже в двенадцатом часу Иван провожал Галкина до калитки, и Альфа разлаялась на всю улицу — отвечала на чей-то далекий и тонкий лай с подвыванием.

Отец перед сном был в духе, острил по собственному адресу: «Скрипучее дерево сто лет скрипит» — и вообще был он сегодня не таким, как обычно, был загадочным, многозначительным и склонным к философским размышлениям о жизни и смерти.

— Помирать не страшно, — сказал он Ивану внезапно и наставительно, — а только досадно. Да и то в том случае, когда остается дело, которое ты не успел довести до конца.

— Что-нибудь всегда остается, — сказал Иван первое, что пришло на ум (старик злился, если ему не отвечали).

Отец задумался, пошевелил морщинами между бровей и заявил:

— Тогда сумей обеспечить, чтобы твое оружие подняли другие, — и ушел спать, спросив в третий раз, когда придет Борис.

Дважды за вечер Иван говорил ему, что в будущее воскресенье, сообщил и сейчас. Некоторое время из-за стены доносился скрип дивана, ворчание, что Иван опять так и не перетянул матрац, потом старик позвал Альфу, она, конечно, залезла грязными лапами ему на одеяло, и стало тихо. Лег и Иван — последнее время по утрам трудно было подниматься.



Тихо в поселке. Не слышно собак, не шумит электричка, давно погасли окна. Ночь. Спит на своем диване отставной руководитель производства Василий Иванович Ехалов, спит, подогнув ноги, чтоб не мешать Альфе, и разносит во сне начальника литейного цеха. Спит и Иван — утром рано вставать, но до этого еще далеко, а сейчас ему снится какой-то хороший сон. Ему вообще редко снятся сны, но уж если снятся, так обязательно хорошие, а это значит, что Иван Ехалов — счастливый человек.

Правда, в начале жизни, лет десять назад, случилась с ним большая неприятность. Он тогда только что поступил в Техноложку, и вот, шел как-то вечером с приятелем по Фонтанке, привязались трое. Слово за слово — и драка. Вообще-то мордобой так себе, не всерьез, но видно — судьба. Иван подцепил левым крюком, добавил правой, а тот полетел и треснулся затылком о парапет. Треснулся и остался лежать на тротуаре. А потом Иван грузил этого типа на «скорую», а те все куда-то делись. Парень долго валялся по больницам, но выжил и инвалидом не сделался, зато Иван как раз угодил на самый пик борьбы с хулиганством, так что загремел на всю катушку — на четыре года. И повело: вернувшись, заболел туберкулезом — пошли клиники да санатории, пока лечился — умерла мать, и теперь вот они с отцом уже пять лет вдвоем на даче.

Адвокат Галкин М. И. до сих пор утверждает, что Иван мог бы и вообще не сидеть, что плохо сработала защита: слишком щепетильный директор не заплатил, дескать, МИКСТ — «максимальное использование клиента сверх тарифа». («Это чтоб я — взятку?!») Да что уж теперь говорить — что прошло, то прошло, жизнь переиграть невозможно, стоит ли тратить время на подобные размышления. У Ивана последние пять лет были лес и поле, и зимние тихие ночи, и прогулки с Альфой вдоль замерзшей белой реки, когда собака прыгает, мышкует

по только что выпавшему снегу. И еще была у него свобода думать, как ему хочется, и делать, что сам считает нужным, никакой тебе на работе показухи, а дома — ничьих вопросительных тоскливых глаз. С отцом все было просто, ему нужна была физическая помощь — принять, подать, накормить. А в душу он не лез.

В душу-то, конечно, Василий Иванович ни к кому не лез, даже к собственному сыну, но не потому, что не имел на это права. Он даже, наоборот, считал, что обязан, отвечает перед народом за то, каких сынов вырастил, каких людей оставляет после себя государству. Насчет Бориса был спокоен, да и Иван неплохой человек, если уж на то пошло, только несамостоятельный, — тут уж да. Разве нормально это, что тридцатилетний лоб живет при папаше, работает в шарашкиной артели. Это ведь придумать: ремонт утюгов! И главное, никаких усилий не делает, чтобы эту жизнь поломать! Умение сориентироваться в любой обстановке и принять единственно верное решение — вот что было, по мнению бывшего директора, самым главным человеческим качеством. А этот дурак? Когда он что решал? Всю жизнь плыл, куда несло. Плохо это, и сказать об этом надо, и злился Василий Иванович на сына, что суп остыл или там пыль в углу, злился, а главного-то сказать не мог — все готовился да откладывал. Не приучен был к болтовне, а действовать момент еще не настал. Но настанет!

Галкин приходил теперь к Ехалову каждый вечер и просиживал не меньше, чем по три часа. Они шептались за плотно закрытой дверью, потом адвокат с таинственным лицом отправлялся домой, напевая: «Их фур нах Вараздин, где всех свиней я господин», а Василий Иванович укладывался спать. Перед сном он взял обыкно-

вение обязательно задавать сыну какой-нибудь интересный вопрос, вроде:

— Хотел бы ты, Ваня, стать строителем?

— Хотел бы! Еще как!

Попробуй ответить старику иначе, он тебе покажет.

— Так что же не едешь? Хоть на БАМ! Климат там здоровый, всю твою чахотку — как рукой.

— А ты? Один тут?

— Ах ты мерзавец! Да я — что, инвалид? Под себя хожу? Обузой еще никому не был и не буду, пока не помру! «Один...» Свою жизнь надо прокладывать, а не бабиться при старике. Так и сам, не успеешь охнуть, в старого песочника превратишься, а жизнь одна!.. Да что тебе, дураку, говорить?!

Не надо, не надо было напоминать, что он при отце вроде няньки.

В четверг в Доме быта был санитарный день, и Иван решил с утра пройтись на лыжах. Взял Альфу, которая с утра уже догадалась и за завтраком вела себя культурно. В другие дни она садилась около стола, рядом с отцом, тот, естественно, делился с ней последним, она съедала все мгновенно и начинала большой своей лапой бить Василия Ивановича по колену. Бывало, что он долго не мог намазать себе кусок: только возьмет хлеб, как собака свою порцию уже сожрала и смотрит. Последнее время Иван бутерброды отцу делал сам, но старик и их ухитрялся скармливать собаке, а потом жаловался, что вечно сидит голодный.

Сегодня Альфа была тихая, сидела рядом с Иваном и все заглядывала ему в глаза, все уши прикладывала и разевала пасть, а когда встали из-за стола, закрутилась по комнате, кусая себя за хвост, — признак большого восторга и душевного волнения.

Больше всего в таких прогулках Ивану нравилось,

что идти можно, как в сказке, куда угодно, только там — пойдешь направо — голову сложишь, налево — костей не соберешь, а прямо — еще какая-нибудь гадость. А тут, если направо, — выйдешь на пустынный берег реки, на обрыв, с которого можно скатиться, и никто не увидит, даже если и свалишься на полдороге в сугроб. А потом можно идти не спеша по заметенному снегом льду и смотреть на высокий правый берег из красного песчаника. С глубокими своими пещерами и гротами выглядел этот красный берег, присыпанный блестящим снегом, прямо-таки фантастически.

Если пойти прямо, придешь как раз в Дом отдыха, а там уместно посмотреть, какое вечером будет кино, и даже билет купить.

Но сегодня Иван решил идти налево. И Альфа как знала, сразу от калитки свернула туда же и побежала, петляя по улице. От восторга она металась из стороны в сторону — то присядет, то нюхает снег и идет носом в землю по невидимому следу, то вдруг залает тоненько, как щенок. Иван не торопясь шел вдоль дороги — прокладывал лыжню по целине.

Мимо детских садиков — грустно они все-таки выглядели с засыпанными снегом неподвижными качелями, с фанерными, раскрашенными зверями, никому сейчас не нужными и оттого вроде брошенными, — мимо пожарной части и магазина вышли они к чайной.

Толстая Зинка-буфетчица с утра уже успела надраться, выбежала на мороз в зеленом шелковом платье, вся расхристанная, в потных кудряшках, с ярко-красным расползшимся ртом. Мертвой хваткой вцепилась она в незнакомого, видно из города, мужичишку и тащила его за руку, выкрикивая на всю улицу:

— А я говорю — пойдешь! Я кому говорю — пойдешь?!

— Да катись ты! — кочевряжился мужичишка. — Больно мне надо — за поллитру.

Потом вдруг тихо и жалобно попросил:

— А давай я тебе лучше столик полированный сделаю? А?

Зинка в ответ заревела в голос, а Иван прибавил шагу и побыстрее прошел мимо — увидит еще, привяжется. Да и Альфу надо было уводить, пьяных она терпеть не могла, порвет мужика, вон уже и шерсть на загравке поднялась. Иван нагнулся, слепил снежок, свистнул Альфе и бросил снежок через забор. Собака тут же взвилась, перемахнула на чужой участок, побегала-побегала и кинулась догонять Ивана, а тот уже далеко отошел от чайной, от пьяной Зинки; уже кончились дома и потянулся справа от дороги молодой еловый лес. Летом он выглядел мрачновато, темный был и сырой, а зимой казался веселым. Запорошенные снегом елочки топорщили свои пушистые ветки, и было в них что-то звериное, во всяком случае Альфа так подумала и, упершись всеми четырьмя лапами в снег, громко залаяла. А Иван все вспоминал Зинку-буфетчицу и Катерину. Несчастные они существа, эти женщины, всегда оказываются в зависимом и оттого унижительном положении, всегда им надо быть при ком-то, для кого-то, ищут своего глупого смысла, чтобы заполнить жизнь, а зачем ее заполнять?

Вдохнул Иван морозного воздуха и подумал, что год назад не смог бы вот так бродить на лыжах и дышать холодом — кашлял и задыхался, а теперь — ничего. Живем.

Альфа, та не терзалась никакими проблемами и комплексами, бегала как сумасшедшая по сугробам, гавкала на пни, кралась за вороной, и ничего ей не было нужно, а ведь тоже могла бы тосковать и сетовать на неудачную свою женскую судьбу. Обездолит несчастную собаку и обрек ее на вечное безбрачие не кто-нибудь, а клуб служебного собаководства, и с тех пор, как это произошло, не было никого, кого бы так люто ненавидел Василий Иванович Ехалов, как клубных дам.

Альфу подарили Василию Ивановичу пять лет назад, по случаю выхода на пенсию, которой он вовсе не хотел и считал себя оскорбленным, когда начальство намекнуло — на покой. Другие бывшие его сослуживцы, взять хоть Лешку Бутягина, сидели еще на своих должностях и до смерти просидят, а он, крупный руководитель, который во время войны был уполномоченным наркома по Уралу и Сибири, он — не нужен!

Так что проводы Василия Ивановича на пенсию прошли неважно, он был мрачен, речи слушал отвернувшись, приветственный адрес бросил на стол, не раскрыв, и только тогда оживился, когда вышел на сцену только что вернувшийся из армии наладчик Гончаренко и сказал, что от имени молодежи предприятия хочет вручить директору памятный подарок. При этом Гончаренко протянул Ехалову странного вида мешок. В мешке что-то шевелилось и попискивало, директор поднял брови, и тут Гончаренко молча вытащил на свет круглого черно-серого щенка с толстыми лапами и положил Василию Ивановичу на колени. После суматохи выяснилось, что щенок этот с тоненьким жалким хвостом и беспорядно висящими ушами был чистокровной восточноевропейской овчаркой, родившейся по месту службы Гончаренко, на погранзаставе, от известного на всем Северо-Западе Корсара, задержавшего не один десяток нарушителей, и Альмы — молодой собаки, отличавшейся лисьей хитростью и неукротимой отвагой. Портреты заслуженных родителей и справка о происхождении Альфы — так звали щенка, поскольку он был женского пола, — были торжественно вручены новому владельцу.

На следующий же день после проклятого торжества, которое Василий Иванович в дальнейшем упорно называл «панихидой», приступил он к воспитанию и дрессировке щенка, для чего приобрел целую библиотеку пособий. Тогда-то он и поселился навсегда за городом, оставив квартиру в полное распоряжение старшего сына.

Уже к четырем месяцам Альфа научилась выполнять все основные команды; внешний вид, а по-научному экстерьер, у нее тоже оказался отличным, так что Василий Иванович был уверен, что на щенячьей выставке Альфа получит медаль. Выяснив по телефону, что ближайшая выставка молодняка состоится через месяц, он нарядился в свой главный костюм, приколот лауреатскую медаль и поехал с Альфой в клуб служебного собаководства, чтобы зарегистрировать ее там в качестве будущей участницы. Но не тут-то было. Эти дамочки даже смотреть на Альфу не пожелали, для них, бюрократок собачьих, не ум и не красота оказались важны, а документы. Альфину справку, подписанную начальником заставы, они посчитали недействительной, им подавай родословную на десять колен, и чтоб вся состояла из жирных домашних собак, жрущих на паркете докторскую колбасу, в глаза не выдавших границы, не слыжавших, как пули свистят.

— Чем вы можете доказать, что производитель был чистых кровей? — спросила Василия Ивановича гнусавым голосом самая главная фифа и, даже не желая выслушать перечень боевых заслуг славного Корсара, сразу объявила Ехалову, что не только права на участие в их поганой выставке не заслужила его собака, но и жениха породистого ей не полагается, и вообще среди породистых псов она числиться не может. А когда он, охрипнув от гнева, спросил, как же будет Альфа жить, ведь надо собаке иметь щенков, эта пучеглазая дала ему понять, чтоб искал мужа для своей безродной среди таких же дворняг, как она. Тут директор очень тихо и вежливо осведомился, замужем ли сама эта особа, и, получив растерянный ответ, что, дескать, замужем, а что, закричал:

— И разрешили?! При таком экстерьере разрешили законный брак? Я бы запретил!

Дамочка завизжала и заплакала, Василий Иванович

ушел навсегда из чертова клуба, и стала Альфа с этого дня в доме королевой. Всю собачью науку она знала, все команды выполняла с полуслова, но вела себя, как хотела: спала на кровати, ела со стола, рыла ямы на грядках с клубникой, гоняла коз. Ехалов ей все спускал, а за безобразия ее взыскивал с Ивана — собака, совершенно ясно, хулиганила от плохой кормежки и недостатка внимания. Местных кобелей, пытавшихся поухаживать за Альфой, Василий Иванович на пушечный выстрел не подпускал, не мог пойти на такое унижение для своей чистокровной овчарки. Так и жила Альфа до пяти лет в девицах — и ничего, ни за кем не бегала и не страдала.

...Иван с Альфой прогуляли до трех часов. Домой Иван не торопился, — отец, когда они уходили, сидел за столом над очередной главой своего сочинения, обед в доме был, в магазин вроде не надо. И пошли они дальней дорогой, в обход магазина и чайной, через поле, мимо детского дома. Детский дом уютился в двухэтажном унылом строении, похожем на барак. Старый Ехалов несколько раз обращался в поселковый Совет с заявлением, что детей надо переселить в какое-нибудь более веселое и просторное здание, но свободных домов в поселке не было, а средства на новое строительство обещали выделить только к концу пятилетки.

Сейчас во дворе детского дома было шумно — все вышли на прогулку в одинаковых пальто: мальчики — в серых, девочки — в синих. И, увидев Альфу, сразу бросили свои дела, игры и драки и влипли в штакетник. Иван остановился и скомандовал собаке: «Лежать!» Альфа сразу легла, и восторженный вздох пронесся вдоль забора. Тогда последовали приказания — «стоять», «сидеть», «голос», «апорт». Против обыкновения, Альфа все выполняла без понуканий, а из-за забора летели в снег слипшиеся, замусоленные, разогретые ладонями леденцы. И хоть не полагается служебной собаке брать



у чужих, Иван делал вид, что не замечает, когда Альфа застенчиво подбирала угощение.

— Военная овчарка, — шепотом приговаривал совсем маленький мальчик, вцепившийся обеими руками в штатетины забора, — ученая собака. Граничная!

А дома Ивана ждал сюрприз. Когда он подошел к калитке, то увидел отца в старом полушубке, топтавшегося с деревянной лопатой посреди двора. Дорожка от калитки к крыльцу была аккуратно расчищена, и сейчас директор прокладывал трассу к сараю, где хранились садовые инструменты и велосипед. Альфа в восторге бросилась к старику и тотчас повалила его в снег. Иван хотел поднять отца, бормочущего: «Ах ты негодница, ах чертовка...» — но тот с негодованием глянул на него и медленно встал сам — сперва на колени, а потом и во весь рост. Альфа тут же толкнула его снова, но он удержался на ногах и, строго посмотрев на Ивана, скрипучим голосом произнес:

— Прошу мне не мешать. Здесь еще много работы. Иди домой, ты, вероятно, устал. Обед я сделал, за стол садимся в шестнадцать часов.

В кухне было темно от копоти. Жирные ее хлопья летали по всему дому, оседали на занавесках, на скатерти, на листах оставленной рукописи. Источником копоти являлась, конечно, керосинка, на которой в почерневшей кастрюле догорала начищенная Иваном картошка. Суп, правда, уже закипал на плите, растопленной отцом, — вон и лучинки лежат, тщательно наколотые. Да-а...

Иван погасил злосчастную керосинку и принялся за уборку, поглядывая время от времени в окно. Старик в большом оживлении заставлял Альфу прыгать взад-вперед через ограду и после каждого прыжка премировал ее печеньем, которое вытаскивал из кармана полушубка.

Когда Иван позвал отца домой, все было уже кое-как прибрано и проветрено. Василий Иванович был сегодня в отличном настроении и даже не сделал ему ни одного замечания, хотя мог бы: вместо шестнадцати ноль-ноль за стол они сели в семнадцать тридцать две. За обедом он принимался напевать и насвистывать, рассыпал соль, скормил Альфе все масло и, в конце концов, заявил, что сегодня у него праздник, сегодня они с юристом Галкиным заканчивают большую совместную работу и по этому поводу Ивану предлагается без промедления сходить в магазин за бутылкой.

Галкин явился вечером в обычное время, часа полтора длилось шептание за дверью, потом вышли оба, важные и торжественные, и директор распорядился подать выпивку и закуску. За столом разговоры шли на обычные темы — о внешней политике, в которой нужна твердость и твердость, чтоб не давать возможности странам капитала распоясываться и диктовать свои условия.

Говорил в основном Ехалов. Галкин помалкивал, потом вдруг некстати перевел разговор на погоду — что в этом году обещают раннюю и бурную весну, а все будет наоборот, помяните мое слово. И Василий Иванович согласился.

Почему-то в этот вечер Ивану казалось, что Галкин поглядывает на него с некоторой жалостью, но кто их знает, стариков, отчего у них какие настроения, — может, глядя на Ивана, вспомнил вдруг свою собственную молодость, а может, грустно ему стало, что молодое поколение нынче не то. Отец же, напротив, был весьма возбужден, даже слишком, и Иван решил, что, когда Галкин уйдет, заставит его выпить валерьянки.

Но проводив, как обычно, адвоката до калитки и вернувшись в дом, он обнаружил отца понуро и неподвижно сидящим около стола и мысленно обругал себя за то, что налил старику целую рюмку.

— Стар стал, что поделаешь, — медленно сказал Василий Иванович, и рот его задергался.

Кончалось воскресенье. Отец уже заснул у себя в комнате, напившись чаю с тортом, поругав Бориса, что опять истратил черт-те сколько денег на подарки и угощения, а внуку нужнее, и получив обещание, что уж в следующий-то раз Ваську точно привезут к деду. Борис Васильевич обещал это, чтобы не раздражать отца и не расстраивать, а к следующему разу, через месяц, старик уже забудет, о чем просил, а вспомнит — можно еще раз пообещать. Главное — не отказывать.

А Иван... Иван — человек в высшей степени тонкий и тактичный, лишних вопросов никогда не задавал, все понимал с полуслова. И за это Борис его особенно уважал.

Сейчас Борис с Иваном сидели вдвоем около стола и допивали по третьей чашке крепкого чая; Борис привез из города «Индийского» и заварил по своему способу, это он умел делать классно.

— Ну что, батя все пишет свою Книгу Жизни? — спросил Борис.

Иван кивнул.

— Мне тут, — Борис отхлебнул чаю, — защитник Галкин поручил взять у машинистки первую часть... Послушай, ты ее читал?

— Читал.

По голосу Ивана ничего не поймешь.

— Не знаю, что и делать, — Борис перешел на шепот. — Ведь не напечатают — больно много уже таких мемуаров.

— Не напечатают, — согласился Иван.

— Да-а... дела. А ведь он потребует, чтоб я рецензию ему представил.

— Представим рецензию.

— Отказ? Его инфаркт хватит.

— Наоборот. Рецензия будет прекрасная: мол, уважаемый автор, издательство рассмотрело вашу рукопись, в которой содержится много ценного, но так как план на ближайшие два года уже сформирован, то публикация ваших интереснейших мемуаров намечается на тысяча девятьсот восемьдесят... такой-то год. Желаем творческих успехов. С товарищеским приветом.

— Ты гений, Ванька! Мне и в голову...

— А мне вот пришло — у меня башка пустая, есть куда прийти, чиню пылесосы по восемь часов. Отличная работа — руки заняты, голова свободна, особенно когда заказов нет. Я тут решил английским заняться...

Но Борис уже не слушал. Опустив голову, он кивал и даже произносил какие-то «да-да» и «понятно», но сам думал опять все о том же — что подонок он, а не старший брат, что Ваньке помощь нужна, что жизнь его с этими пылесосами и домашним хозяйством — не жизнь, а черт знает что. Конечно, здесь, в поселке, просто не найти другой работы, но и так жить...

— Ванька, больше так нельзя!

— Чего? — поразился Иван. — На рабочем месте английский учить?

— Брось! Знаешь ведь, о чем я. Надо в Техноложку поступать, я помогу — поговорю с кем надо и подготовиться... И вообще... Если нужны деньги, я...

— Деньги всегда нужны. У отца на весну обуви нет, а пенсию он не дает, прячет куда-то. Так что не откажемся, давай, если лишние, а институт... подождем.

— Хватит! Ждали! Ты что, думаешь, я там живу себе, наслаждаюсь семейным счастьем и творческими успехами и плевать хотел, что единственный брат...

— Да кончай ты! Ну, ладно — допустим, поступлю я в этот твой вуз. Пусть даже на заочный. А старик? Ведь ездить-то придется — зачеты, экзамены. То, се.

— Придумаем. В конце концов, переедете в город, как-нибудь устроимся... можно... если уж на то пошло, мне давно предлагали кооператив... Я понимаю, тебе для здоровья здесь лучше, микроклимат...

— Вот именно. Мне в городе крышка.

— А если найти человека? Договориться?

— Ты что, отца не знаешь? «Барство», «наемный труд»! И вообще — надоела мне эта благотворительность. Если ты считаешь, что виноват в страданиях несчастного брата, то дурак и катись! Я тут прекрасно живу, всем доволен. И точка.

А он ведь, вполне вероятно, и в самом деле доволен. Вот до чего дошел. А главное, абсолютно бесполезно продолжать спорить — разозлится, да что — уже разозлился, брови свел, губу прикусил и в чашку смотрит. Поганая жизнь, а еще говорят: каждый сам кузнец своего счастья! Вот сидит — кузнец из Дома быта. И ничего ему не скажи.

Уехал Борис Васильевич в этот вечер домой в очень дурном настроении. А Иван проводил его на последнюю электричку и возвращался домой вдвоем с Альфой. Началась метель, снег летел в лицо, а ему нравилось так идти одному по пустой дороге. Хотите верьте, хотите не верьте, а вот нравилось, да и все! Впереди натопленный дом и любимая его «Крошка Доррит», отец, слава богу, вел себя сегодня вполне нормально, не капризничал, а это значит — чувствовал себя лучше, а Борька — зануда, ничего он не понимает, хоть и умный.

...Когда-то тоже был январь, и пурга была такая же, только — за окнами, за толстыми больничными стенами, за которые не выйти, никогда, наверное, уже не выйти, подышать здесь в двадцать четыре года! Рентгенолог сегодня посмотрела снимки и только головой покачала:

— Точно трактор прошел.

Это она не ему, а палатной врачихе. Врачиха эта ду- рочка была, растерялась, совсем еще девчонка. Иван вы- бежал из кабинета, а она — за ним. И утешает:

— Да что вы, Ехалов, так побледнели, вы же муж- чина. Другие на фронте и до ваших лет не дожили. И в конце концов, какая разница — все равно все когда- нибудь...

Развела, дурища, философию. Другой бы жалобу на нее накатал.

...Мела вьюга за окнами больницы до самого вечера, а Иван стоял и смотрел. Шли мимо люди, недовольные такие, лица от ветра заслоняли, отворачивались, шли оза- боченные — за покупками, по делам. Шли — жить. Жить ведь шли, дураки, и не понимали этого! А он смотрел на них, смотрел, пока совсем не стемнело, пока в палате свет не зажгли и нянечка ужин не принесла...

Хоть и возражали Василий Иванович с Галкиным против прогноза, а весна в этом году им назло наступи- ла рано и как-то вдруг. Неделю таяло, гремело, снег пла- стами съезжал с крыши, и сад за окном из белого стано- вился сперва грязно-серым, а потом — черным.

Старик Ехалов чувствовал себя плохо и блажил: сплошные неполадки: и еда надоела, — что в самом деле все одно и то же? — и к мемуарам он что-то охладел — в мыслях никакой стройности, а тут еще мешают, ходят, дверями хлопают! Все из-за недотепы. Иван раздражал его своим спокойствием, вернее, равнодушием и вяло- стью. Ничего он толком не умел и уметь не хотел, деньги тратил на глупости. Ну зачем, например, было покупать весной дрова? Скоро станет тепло, а пока вполне можно собирать в лесу сушняка. Вполне можно, только лень!

Старик решил, что, сколько денег ни давай на хозяй- ство, все пойдет прахом, и распорядился каждый месяц пятьдесят рублей из его пенсии переводить Борису —

на внука. Лишняя копейка никогда не помешает — па-рень растет, ему витамины нужны. И иностранные языки!

Отсылать деньги он поручил верному другу Галкину, при этом они долго о чем-то спорили. Иван не вслушивался, но уловил, что, кажется, впервые в жизни Галкин позволил себе противоречить отцу и за это получил разнос. Бормоча: «Дело ваше», он выскочил из комнаты и стал надевать пальто, путаясь в рукавах. Иван пальто ему подал, и тогда Галкин вдруг произнес речь:

— Я, конечно, Иван Васильевич, не имею права вмешиваться в такое сугубо личное дело, возможно, сейчас я совершаю бестактность и не должен... Я глубоко уважаю вашего батюшку, но, по-моему, извините, следует как-то корректировать его поступки. Я молчал, когда... Впрочем, сейчас речь не об этом. Словом, я считаю, что материальная помощь семье Бориса Васильевича, извините за резкость, просто чужь! Не перебивайте, я старше вас! Ваня, я знаю, сколько вы получаете, и представляю себе расходы. Один дом содержать — охо-хо! Сам дачу имею. А стариковские прихоти... Короче говоря, давайте так: эти деньги я буду возвращать вам. Не требует же он от меня квитанцию.

— Нет уж, Матвей Ильич, вы меня по делу не берите, не будем пачкаться из-за полста. Отсылайте.

— Да поймите вы наконец, идеалист несчастный! Ваш брат, слава богу, так обеспечен, как вам не снилось! Был я у них в прошлый раз, имел удовольствие видеть и карельскую березу, и гобелены. Между прочим, он мог бы приезжать и почаще, чем раз в месяц, и не только для отца, а чтоб дать вам возможность съездить в город, сходить в театр, в концерт, что ли! Является тут, понимаете, с презентами, расточает улыбки, а по делу... Не буду я ему деньги переводить! Не буду, и все. Так и скажите папаше.

Галкин бросил деньги на стол и ушел, а Иван на сле-

дующее же утро отправился на почту и послал перевод. Конечно, это отцова обычная педагогика, — наказывал его, Ивана, за дрова, да ладно, обойдемся, свет клином на этих пяти червонцах не сошелся, тем более что завтра получка.

Борис приехал через десять дней, в свое законное второе воскресенье месяца, и имел с отцом крупный разговор. Старик взять деньги обратно отказался наотрез, надулся, а потом еще устроил сердечный приступ. Трудно сказать, не придуривал ли он вначале, но в конце концов так вошел в роль, что пришлось вызывать «неотложку». Врач намерил двести двадцать на сто сорок, ввел магнезию и строго сказал сыновьям, что больному необходим полный покой и никаких отрицательных эмоций.

— И что тогда? — спросил Иван — у него всегда чесался язык задавать бессмысленные вопросы.

— Тогда? — удивился врач, задумался, а потом сказал, будто оправдываясь: — Чего вы хотите? Возраст есть возраст.

Борис в этот день допоздна задержался на даче, чуть электричку не пропустил, так было тревожно на душе и жалко оставлять одних отца с Иваном. Да что поделаешь — на девять утра назначено заседание ученого совета по защите диссертации. Не прийти — сорвать защиту.

— Утренние поезда у нас начинают ходить с пяти тридцати, — сказал Галкин, ни к кому не обращаясь, когда дверь за Борисом Васильевичем захлопнулась. Иван промолчал. Эти юристы все большие зануды, а Галкин неправильно выбрал специальность — ему бы прокурором быть, а не адвокатом.

Директор лежал в постели. Во-первых, врач из «неотложки» назначил покой, во-вторых, Василий Иванович



что-то очень ослабел за последнее время, и Ивану тяжело было ворочать его большое тело, когда нужно было перестелить белье или мыть старика.

Как-то поздно вечером, ночью почти, позвал он Ивана и попросил пить. Чай в стакане стоял, как всегда, на тумбочке, но Иван принес еще воды и присел к отцу в ноги. Старик поерзал-поерзал под одеялом, спросил, не забыл ли Иван покормить Альфу, ответа слушать не стал и заявил:

— Интересно, а вдруг там... — он показал на потолок, — все-таки что-то есть?

— Конечно, есть, — сказал Иван, — совершенно точно — есть.

— Ты у меня никак верующий? — Василий Иванович даже приподнялся на локте.

— При чем здесь? Мне недавно рассказывали — в американском журнале напечатана статья: провели обследование лиц, подвергшихся реанимации, ну, то есть переживших клиническую смерть. Их спрашивали, что они чувствовали, когда...

— Ну!!

— Все без исключения сказали: что-то остается. Короче, доказано, что за смертью есть... другое.

— Ну, это уж ты... того. Загробная жизнь... Так и написано — все сказали, что есть?

— Все.

— Буржуазная пропаганда с целью отвлечения от борьбы, — изрек Василий Иванович и с надеждой посмотрел на потолок. — Ладно. Иди спать. А журнал — он как, научный или этот... бульварный листок?

— Вестник Калифорнийского терапевтического общества, — соврал Иван. — Спокойной ночи. Альфа, на место!

— Она мне не мешает, от нее тепло! — и старик обнял собаку за шею.

Нет, и в самом деле весна в этом году была какая-то необыкновенная — старожилы не упомнят. Старожил — Зинка, та, что работает в чайной буфетчицей, — на днях на весь магазин божилась, что живет в поселке вот с таких лет, а ни разу не видела, чтобы в середине апреля вылезала трава. Трава не трава, а на солнечных местах и действительно что-то такое зеленело, и почки готовились лопнуть, и небо наливалось летней синевою. Уже прилетели грачи и с криками носились над деревьями и над крышей дома, будоража своим поведением голубей и воробьев, которые тоже суетились, будто и они вернулись из теплых краев и должны — ох, должны! — устроиться на новом месте.

Ярким и теплым днем вышел Иван в сад и, взглянув на дом, вдруг увидел, что в довольно-таки жутком состоянии ехаловская дача. Крыша так проржавела, что это было видно невооруженным глазом, крыльцо осело и покривилось. А сад? Это уже и не сад, а заросли какие-то, кусты сплелись, сцепились ветками, черные плети непонятных, тропических якобы растений, доставленных соседом Галкиным из тайги, повисли и выглядели невероятно мрачно. Померзли они, что ли, или вообще однолетние? Надо было всем этим заниматься, главное, конечно, домом, и Иван поднялся на крыльцо и полез на второй этаж — посмотреть, может, и потолок уже обвалился. Не был там с зимы, когда носил наверх по распоряжению отца ворох его бумаг, черновиков и записок, — старик ни одного листка выбрасывать не давал, все хранил, рассчитывал, что через сотню лет благодарные потомки обнаружат его архив и развернется перед ними величественная картина прошлого, скрытая в коротких записях и пометках активного участника событий.

Второй этаж был недостроен. Скоро двадцать лет, как ставили дом, а так и не собрались оклеить верхние комнаты, навесить двери, сделать нормальный пол. Верх предназначался для Бориса с семьей. Борька только что

женился тогда, но всего первые два или три лета молодые и жили на даче, а потом начали каждый отпуск ездить то на юг, то на Байкал — увлекались туризмом, пока сына не родили, а сын у них появился поздно, через десять лет после женитьбы. Это Наталья так наметила и выполнила: ребенка заводить, когда встанут на ноги, когда проживут для себя, поедят, посмотрят. А то другие наплодят детей в двадцать лет, а потом не знают, на кого бы спихнуть, а ребенку родители нужны, а не бабки с дедками, которые только и умеют... и т. д. и т. п.

Когда родился Васька, Борис защитил кандидатскую, и Наталья смогла перейти у себя в институте на полставки. Первые три года, конечно, сидела с ребенком, потом пошла на работу, а Васька — в садик. С садиком он летом выезжал в Зеленогорск, а когда подрос, его стали отправлять на две смены в пионерлагерь, во время отпуска родители брали его с собой на Кавказ, или в Крым, или в Пушкинские Горы — место отдыха и маршрут всегда намечались заранее, еще зимой.

В общем, на даче на дедовой он не жил никогда, и это было правильно, что бы там ни болтал защитник-адвокат.

А второй этаж так и остался недостроенным, рассыпались там никому не нужная плетеная мебель и рояль, купленный десять лет назад по случаю рождения Васеньки. Тогда же было приобретено и чучело лисы, теперь уже облезлое и сожранное молью.

Иван прошелся по пустым и пыльным комнатам. Надо, надо было взяться за дом, сделать ремонт, а рояль продать, все равно Борис не берет его в город, там пианино есть. Можно бы еще... Все можно, например, вот так порассуждать о ремонте, когда, не говоря уже о деньгах, просто времени нет, да и сил тоже.

Ворох бумаг лежал в плетеном кресле, надо бы выкинуть, и так достаточно материала для пожара. Архив... Тонкая школьная тетрадка лежала сверху. Иван открыл

ее и полистал. Какие-то цифры, расчеты, ага — приходы-расходы, проверял отец, куда деваются деньги, на что идут. Ну, дает старик.

Иван положил тетрадь на место, постоял, посмотрел на забившееся в угол жалкое чучело лисы: «Что, зверюга Патрикеевна? Ощипали?» — и пошел вниз.

Василий Иванович, как слег тогда зимой, так больше и не вставал. Лежал, слабел, и настроение менялось ежеминутно: то просыпался утром, полный бодрости, и обещал, что завтра встанет и пойдет гулять — надо обязательно сгрести в саду прошлогодние листья; то впадал в мрачность, не ел, не пил, о чем-то думал, вздыхал и сам с собой разговаривал — вспоминал, кто из друзей когда и отчего умер. А еще он полюбил перед сном проводить с Иваном длинные беседы о смысле жизни, тихо и яростно ругал сына, что живет как попало, дороги своей до тридцати лет не выбрал, ни к чему не стремится, даже бабы толковой завести не смог, а Катерину гоняет. И таинственно и страшно грозил, что недолго Ивану так, байбаком, прохлаждаться, ничего, он, директор, лично позаботился, чтоб младший его наследник вышел наконец на оперативный простор, и если сам не желает о себе подумать, так обстоятельства принудят. Не можешь — поможем, не знаешь — научим, не хочешь — заставим!

Пока что обстоятельства заставили Ивана в один из выходных поехать в город, нужно было сделать рентген и показаться врачу — весна.

Накануне он созвонился с братом, и они договорились, что Борис приедет к отцу на целый день, на этот раз — всей семьей. Наконец-то старик повидается с внуком, мало у него развлечений, вечером — визиты Галкина и телевизор, а так — только Альфа да чтение газет. И то газеты теперь ему чаще читал Иван, читал осто-

рожно, без всяких комментариев — отец был очень бдителен насчет оценки событий, чуть что раздражался, спорил, кричал, что Иван ничего не смыслит в политике и экономике, потому что, вместо того чтобы делать дело, отсиживается при богатом папаше.

Итак, Иван отправился в город электричкой десять тридцать две, а одиннадцатичасовым поездом должен был прибыть Борис с семейством. С Василием Ивановичем остался пока Галкин, но предупредил — до двенадцати.

В городе весна чувствовалась чуть ли не больше, чем в деревне, только по-другому. Небо здесь казалось светлее и ниже, тротуары и мостовые уже высохли, но главный признак весны был, пожалуй, в людях, в их расстегнутых пальто, непокрытых головах, в лицах, распахнутых, ждущих, готовых к событиям и переменам.

Иван медленно брел по Невскому, всматриваясь в эти лица. Сколько красивых девушек, оказывается, за зиму развелось! И все такие модные, нарядные, уже и не поймешь, где наша, а где иностранка. Пальто и он расстегнул и шарф засунул в карман, а шапку снять все же не решился — по вечерам знобило и лихорадило, хотя вполне возможно, что и от нервов, с ним уже бывали раньше такие истории. . .

В тубдиспансере на Фонтанке, недалеко от того места, где случилась тогда, десять лет назад, злополучная драка, он все свои дела сделал, против ожидания, очень быстро. Новая участковая докторша очень понравилась Ивану: во-первых, как и те, на Невском, похожа была на кинозвезду, а во-вторых, обещала рассказать ему про рентген и анализ крови через два дня по телефону, чего сроду не бывало, — все врачи в таких случаях говорили: вот придете на прием и узнаете. Температура, растолковала она, совершенно ничего еще не значит, сейчас у многих субфебрильная температура. Так что вышел Иван на улицу в хорошем настроении и решил прогуляться по

Летнему саду, где, наверное, с год уже не был. А когда-то... Нет, об этом сегодня не стоит.

Несмотря на отсутствие луж и грязи, сад оказался закрыт на просушку, но Иван все-таки вошел в ворота следом за грузовиком, на котором везли песок. С полчаса бродил он среди ящиков, в которых томились статуи, среди голых деревьев, присел на скамейку около пруда и только тут обнаружил, что устал и вообще пора домой.

Конечно, можно было пойти в кино или «в концерт», как советовал тов. Галкин М. И., можно было позвонить Катерине и тотчас получить приглашение на обед, ужин, завтрак, на что угодно, только ни к чему все это. Приход его и даже простой звонок она сразу же перетолкует, как ей хочется, и потом опять несколько месяцев, а то и больше, надо будет зло и грубо доказывать ей, что все обстоит по-другому.

Не станет он ей звонить. У нее — свое, у него — свое. Своя дорога... Какая уж есть, зато своя... Совсем постарел отец, на полдня оставить одного и то страшно, какие уж там свидания! Не будет Иван звонить Катерине. Сама не появляется, обиделась наконец-то, и кранты!

Он направился к вокзалу пешком — было всего три часа, они там только обедать садятся, — зашел по дороге на Моховой в рюмочную и с большим удовольствием выпил среди любителей пятьдесят граммов водки, закусив бутербродом с килькой. На Восстания посидел в кафе «Буратино», взял черного кофе с пирожным, а когда опять вышел на улицу, увидел пустой телефон-автомат и решил на всякий случай позвонить брату. Там, конечно, никого не должно быть дома, но — вдруг? Мало ли что, а он тут прогуливается. И вот тебе — «конечно», вот уже — в который раз! — подтверждение, что ничего нельзя в этой забавной жизни наперед загадывать и планировать: все были дома. Утром, боже мой, заболел Ва-

сенька, температура тридцать девять: кашель, так что... нет-нет! конечно, Борис был у отца, посидел почти два часа, больше не смог — кто-то же должен был ехать за профессором для Васьки, но ничего страшного, там Матвей Ильич, да и чувствует отец себя прилично...

После этого разговора Иван, не задерживаясь, поехал на вокзал и к шести часам был уже дома.

— Хотите обедать? — задумчиво спросил его Галкин. — У нас тут все осталось. Или вы у своих подкрепились? Не были? Ах, какая жалость! Наталья Степановна поди без ума от горя. Очень, очень симпатичная женщина, обожаю!

— Спасибо, я сыт, — сказал Иван, игнорируя незумские выпады адвоката. — К нашим не заходил — развлекался. Ну, а у вас тут как?

— У нас? Да как вам сказать? — Галкин понизил голос. — Знаете, Василий Иванович ужасно огорчается, — закивал он на дверь в комнату отца, — просто сам не свой по поводу кончины некоего Бутягина. Работник министерства, металлург. Они, кажется, были большими друзьями? Борис Васильевич рассказывал нам...

Вот кретин! Совсем забыл предупредить Борьку, чтобы не говорил старику про Бутягина. Газету с некрологом спрятать не забыл, а тут вылетело из головы, задвинулся на своих рентгенах! Друзьями отец с этим Бутягиным никогда вроде бы не были, зато были ровесниками, в чем и дело.

— ...Скончался внезапно, при исполнении, — рассказывал Галкин. — Прекрасная смерть, хотя для близких...

Для близких. Кто что про них знает, про этих близких. Да и были ли они у Бутягина, хотя наверняка были — у начальства обычно много близких. Обычно... Как правило...

Бывший директор завода, персональный пенсионер Ехалов Василий Иванович, член КПСС с 1924 года, лауреат Государственной премии, кавалер орденов, скончался двадцать третьего апреля в четыре часа утра в возрасте семидесяти пяти лет.

«Ленинградская правда» дала по этому поводу некролог с портретом, другие газеты — объявления, где выражались глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Умер Ехалов внезапно, всего час продолжался приступ, «неотложка» не успела, умирал не тяжело — просто сдало сердце, а из родных и близких при его кончине присутствовали Иван и Альфа.

...За два дня до того Василий Иванович разбудил Ивана рано утром, позвал в свою комнату и, велев сесть, торжественным голосом произнес:

— Вот что, Ваня, давай-ка на всякий случай попрощаемся.

— Да ты что, отец?!

— Помолчи. Это, может, наш с тобой последний разговор. Смерть, милый друг, — тоже событие в жизни, тут добросовестно надо, без халтуры, как... как дела сдать. Понятно тебе? — старик надолго замолчал, смотрел куда-то мимо Ивана, в окно. Потом вздохнул. — Ты не обращай... Слезы — это так, вода, от старости. Жалко потому что. Вон, даже травы той из тайги, что больше не увидишь, — Василий Иванович поморщился и ткнул пальцем в окно, — и тебя, дурака.

— Тебе плохо? Так давай я лучше врача... — Иван встал. — И зачем эти душераздирающие сцены?

— Во-во: плохо — и сразу: врача! Садись! — тихо приказал старый Ехалов. — Чуть что — врача. Душу свою бережешь. Не хочешь, значит, чтоб раздирали. А есть что раздирать-то? Э-э, да что теперь! Я, наверное, и виноват, что ты такой, не научил... Прости. Я и виноват.



— Ну, к чему опять?

— Молчи. Думаешь, я считаю — ты неудачник? Думаешь, не понимаю тебя? Философия твоя мне ясна: жить чтобы жить — дышать, смотреть... Мало этого, Ваня. И нельзя. Несчастный ты.

— Мне хорошо.

— Дождевому червяку тоже хорошо, думает — так и надо жить, как он живет. Сухарь ты, всякого чувства боишься, любой перемены боишься. Конечно, все вижу и ценю, как ты тут при мне в няньках, и в жизни у тебя, кроме кухни и старого гриба-папаши, ничего. Знаю и тебе благодарен. И спасибо... Ну, при мне ты вроде на месте, а вот помру и что тогда-то будешь делать? Для кого жить? Для чего? Ты ведь сейчас как думаешь: «А что я еще могу, у меня больной отец». Ну, а тогда ты что себе скажешь? Как оправдаешься?

Иван молчал.

— Может, это я слишком, — сказал Василий Иванович тихо, — и не мне бы, конечно, говорить, потому что верно: я бы без тебя... Факт, конечно. Но кто тебе еще скажет? А я привык всю жизнь говорить, что думаю. Ведь останешься один, сам себя спросишь — а кто я? Для чего живу? Для кого?.. Я... — теперь старик говорил вроде сам с собой, — я вот для дела жил. Всю жизнь, с восемнадцати лет. Черт его знает, может, это и не правильно, может, я... эта... не гармоническая личность, теперь не так принято жить — теперь и спорт там всякий, и путешествия, и развлечения... А я не жалею! Хорошо пожил. Да... Другие, бывает, для семьи своей живут. А что? Тоже дело. — Василий Иванович вскинул голову. — А ты-то? Катерину прогнал. А знаешь почему?

«Не знаю», — подумал Иван, но не сказал ни слова.

— Все понимаю! Слишком сильно тебя любила, вот что. Обременительно это, ответственность. Решения надо принимать, а как же? Эх ты... Прогнал. Ну и что?

Иван угрюмо рассматривал стену.

— Ну, ничего! Я тебе не дам. Не позволю гнить, — вдруг пообещал Ехалов. — Не выйдет, Иван Васильевич, не допущу. Поминай потом отца лихом, мертвым, говорят, не больно. Лишь бы толк был. А уговорами тебя, видно, с места не сдвинешь.

Иван встал. Отец отвернулся, в тишине слышалось его сердитое сопение. Подождав еще, Иван вышел.

А через два дня Василия Ивановича не стало.

Похоронили Ехалова здесь же, в поселке, на деревенском кладбище, он сам так еще давно назначил. Похороны были очень торжественные: живые цветы, ордена, оркестр. Много пришло на кладбище жителей поселка, и многие плакали. Зинка из буфета, та прямо ревмя редела, всех за полы хватала, рассказывала, как Василий Иванович в позапрошлом году спас ее от верной гибели, от тюрьмы, когда проворовался этот паразит, бывший директор чайной.

С кладбища возвращались пешком. День был солнечный, даже жаркий, случаются в середине весны такие дни, когда кажется — все, холода кончились и пришло лето, хотя всем хорошо известно: и в мае, и даже в начале июня бывают и заморозки, и дожди со снегом. Но сейчас, действительно, было жарко. Галкин устал, запыхался и сказал, что сядет на шоссе в автобус, до дому пешком ему не дойти. Нет, а вы идите, я прекрасно доберусь один, доберусь, не беспокойтесь... Правда, я уполномочен поговорить с вами со всеми, выполнить волю Василия Ивановича, но полагаю, сегодня не время.

— Что вы, Матвей Ильич? Какую волю? — спросил Борис.

— Завещание. Незадолго до своей кончины ваш батюшка составил его со всей тщательностью. Оно хранится у меня, и я, как исполнитель, обязан ознакомить вас с последней волей покойного.

— Первый раз слышу, что отец... какое-то завещание... Ваня, он тебе говорил что-нибудь?

— Нет, — Иван не поднял головы.

— Василий Иванович просил меня огласить текст завещания в присутствии *всех* членов семьи, — отчетливо сказал Галкин и строго поглядел на заплакавшую Наталью Степановну.

— Но я, вы же знаете... я сейчас в город должна... — пробормотала она тихо и виновато, — там Васенька один.

— Мне это известно, и я вас понимаю. Кстати, Василий Иванович сам распорядился, чтобы оглашение его воли состоялось через десять дней после похорон.

— Мы обязательно приедем, — вздохнула Наташа.

Галкин кивнул и зашагал через дорогу к автобусной остановке, а они пошли дальше втроем — Борис с женой и Иван.

— Не могу идти домой, — вдруг сказал Борис, — не представляю себе наш дом — и без отца. Это его был дом, даже с виду на него похож.

— Альфа там... воет... Боря, может, возьмем ее в город? — Наталья опять плакала.

— Давай возьмем. Если Иван не возражает. Ваня, ты как смотришь?

— Никак, — сказал Иван. — У Васьки аллергия, а вы — собаку. И кто гулять с ней будет? Альфа — деревенский пес, привыкла без поводка, а там — машины.

— А, черт, забыл я про эту несчастную аллергию... Завещание какое-то... В наше время... у нас... Чудак отец, неужели он думал, что мы передеремся из-за барахла?

— Какое барахло! — сказал Иван. — Просто все свои дела он хотел кончить сам.

Как и было намечено, оглашение завещания состоялось через десять дней. Борис с женой утром приехали

из города и сказали, что пробудут до самого вечера. Наталья привезла две сумки продуктов и сразу отправилась на кухню готовить обед, а Борис открыл свой портфель и выложил на стол перед Иваном новенький альбом в зеленом переплете.

— Отцовы фотографии. Я все перебрал и наклеил. С Васькой клеили, он все ахал, что дед-то, оказывается, такой был героический и орденосный.

Тут были и маленькие, любительские снимки — Василий Иванович, молодой и взъерошенный, держит на коленях совсем еще бессмысленного Борьку, это перед войной, в Токсове на даче — и большие групповые фотографии — выпуск Промакадемии, вон, Василий Иванович с краю, как обычно, самый высокий, лицо серьезное, губы плотно сжаты. А вот здесь он вдвоем с матерью, где-то, видно, на юге, рядом — пальма, мать в белом платье, а отец — в темном костюме и рубашке-апах. Много было снимков времен войны, на одном из них Василий Иванович почему-то в генеральской папаше, дает интервью молоденькому корреспонденту, корреспондент старательно пишет в блокноте, а у директора лицо набрякшее и злое. Последние годы Ехалов снимался редко, вот этот портрет, который так поразил Ваську, — дед в парадном костюме, весь в орденах, сделан за год до пенсии, а потом всего три или четыре фотографии, Борис снимал, — отец в саду с Альфой. Солнце в тот день светило яркое, старик на себя не похож, весь сморщился и глаза прищурил.

— Там есть еще снимки похорон, — сказал Борис, — с завода привезли.

Иван эти снимки смотреть не стал, закрыл альбом и пошел на крыльцо встречать Галкина, — увидел в окно, как тот открывает калитку.

Матвей Ильич сегодня выглядел торжественно, в синем костюме с галстуком, в руках большая кожаная

папка. Когда все расселись вокруг стола, он бережно раскрыл папку и произнес:

— Завещание составлено и оформлено по всем правилам.

...Это значит, и нотариус когда-то успел здесь побывать, а Иван и не знал ничего.

Читал Галкин медленно и бесстрастно, не поднимая глаз от листа. По завещанию гражданина Ехалова В. И. определялось, что его сбережения в размере двух тысяч ста двадцати рублей, хранящиеся на срочном вкладе, переходят сыну Борису Васильевичу. Ему же отец оставлял и все свое имущество, которое находилось в городской квартире, как-то: книги, мебель, посуду, два ковра и проч.

Младшему сыну Ехалов завещал сберкнижку, где лежало триста рублей, и, главное, свой труд — воспоминания о прожитых годах, который просил закончить по его записям, две черные клеенчатые тетради прилагаются («Хранятся на верхней полке книжного шкафа», — пояснил Галкин). Все доходы от опубликования мемуаров В. И. Ехалова также поступали в распоряжение Ивана.

Дочитав до этого места, Галкин откашлялся и попросил воды. Наталья побежала на кухню, принесла налитую чашку и сказала:

— Эти две тысячи мы, конечно, разделим на всех. Нас трое, Ваня — четвертый, пятьсот рублей — его. Как хотите, иначе я не согласна.

Иван пожал плечами. Борис посмотрел на жену одобрительно, а Галкин приступил к чтению второй части документа.

Вторая часть была короткой и сводилась к тому, что свою недвижимую собственность, то есть дачу со всей обстановкой и постройки на приусадебном участке, завещатель передает государству и просит, если это возможно, использовать под детский дом.

Галкин закрыл папку, и наступило молчание.

Борис и Наталья смотрели на Ивана, который внимательно глядел в окно. За окном на ветке сидела большая ворона, держа в клюве осколок яичной скорлупы.

— Наследники имеют право предъявить иск о признании завещания недействительным, — сказал Галкин, — считаю долгом пояснить, что по некоторым пунктам лично я выражал сомнения покойному Василию Ивановичу, но он настоял, у него, видимо, были какие-то свои соображения.

— Соображения?! — крикнула Наталья. — А Ваня как же?

Иван знал, какие соображения могли быть у отца, знал и молчал, сказать тут было нечего.

— Ивану Васильевичу придется, очевидно, переселиться в городскую квартиру. По месту, так сказать, прописки, — и Галкин посмотрел на Бориса. Наталья тоже смотрела на мужа, но тот молчал, царапая спичкой по скатерти.

Ворона за окном выплюнула скорлупу и принялась лениво чистить перья, грязные плети глупого тропического растения мотались по ветру, как патлы, а у Ивана лицо было точно деревянное, ничего на нем не прочтешь, ничего не поймешь! Что это за человек такой, на все ему наплевать — и на себя, и на других, пол под ним провалится, а он так и будет сидеть с тупым и оцепенелым видом.

Альфа, лежавшая около Ивана, встала, прошлась по комнате, зевнула, снова грохнулась на пол — и хоть бы что ей.

— Что будем делать? — сказал Борис, взглянув на брата. — Иван! Ты слышишь? Надо же решать в конце концов!

Иван прекратил наконец изучать идиотскую ворону.

— Как то есть «что делать»? Там, — он кивнул на папку, — все, по-моему, написано.

— Перестань валять дурака, — тихо сказал Борис Васильевич и встал. — Я не знаю, — он смотрел теперь на Галкина, — в каком состоянии отец писал этот... манускрипт, знаю только одно, что, лишив Ивана дома, сделав эту несправедливость, он вынуждает его жить в городе. А при его легких...

— Брось, — сказал Иван, — никто не вынуждает. Не надо, Борька.

— При его легких он представляет смертельную угрозу для вашей семьи?! Бациллоноситель! Так ведь, уважаемая Наталья Степановна?! — вдруг визгливо закричал Галкин и ударил кулаком по столу, отчего Альфа подняла голову. — Так вот, любезный Борис Васильевич, извольте знать, что отец ваш составил завещание, находясь в здравом уме, именно так, и твердой памяти, я тому свидетель! А иск — это пожалуйста, это — сколько угодно, особенно, если в числе наследников имеются дети или нетрудоспособные инвалиды. Вам же, Ваня, я вот что скажу: коли уж на то пошло, я и сам спорил с Василием Ивановичем...

— Я все понял, — сказал Иван, — и давайте кончать этот разговор.

Он и верно понимал все прекрасно — отец сделал, как обещал: «Давай, Иван Васильевич, начинай теперь новую жизнь не директорским наследником — дачевладельцем, а как положено — с нуля. Как мы начинали... Дорогу осилит идущий...»

— Не думал я, брат, что ты так спокойно сможешь слушать эту чушь. И если ты считаешь, что я способен на подлость, то мне сказать больше нечего. — Борис отошел к окну и встал ко всем спиной.

Наталья поднялась из-за стола, шагнула к мужу и взяла его за плечо:

— Перестань. Матвей Ильич не хотел... у всех нервы, такой момент... Матвей Ильич! Ваня! Конечно, надо все сделать, как велел Василий Иванович, это его по-

следняя воля, и ее нельзя нарушать. Но ведь там ничего не сказано — когда нужно отдать дом, правда? Можно сделать это... после, через год. В конце концов, Василий Иванович умер внезапно, он, когда составлял это завещание, наверняка рассчитывал, что еще поживет. Брату, безусловно, пока лучше в условиях пригорода, тут и воздух, и Альфа... и... все, а мы пока что займемся квартирой. Что-нибудь придумаем. Ваня! Как тебе, правда, не совестно? Ты прекрасно знаешь, что твоя комната была твоей и осталась, ты там прописан, и никто не собирается лишать тебя площади...

— Очень благородно, да как-то не верится, — пробормотал Галкин, но она его не услышала.

— Вы что?! С ума тут все походили? — Иван сорвался со стула. Теперь уже, кроме Галкина, стояли все, даже Альфа вскочила и смотрела умными своими глазами на хозяина, точно прикидывала — надо уже за него заступаться или подождать еще, а если заступаться, то как, ведь все здесь вроде свои.

— Совсем одурели! — кричал Иван. — Квартиры какие-то! Прописки! Квадратные метры! Да нельзя мне жить в городе, вспышка у меня, понимаете вы это или нет?! Мне неделю назад врач категорически запретил...

— Ну, знаете ли, Иван Васильевич, это уж... вы сами мне... — теперь стоял уже и Галкин.

— Подождите, Матвей Ильич, — перебил его Иван, — дайте я договорю, раз начал. Так вот — завещание мы выполним, ничего откладывать не будем. Как отец сказал, так и сделаем. Это раз. В городе мне жить запрещено врачами. Вы поняли, Матвей Ильич?

— Понял, — злобно откликнулся Галкин, — восхищен и приглашаю вас перебраться ко мне. Я старик, бациллоносителей не боюсь, жить одному мне трудно. И опасно. Да!

— Я подумаю. Спасибо... Ну вот и вся проблема, — тут Иван улыбнулся, и Альфа сразу облегченно замахала



ла хвостом, — и хватит. Борька, слышишь? Кончай! Ты что, хочешь, чтобы я загнулся во цвете лет от скоротечной чахотки на почве нервных потрясений? Наташа, скажи своему повелителю, чтобы не валял дурака.

А Борис уже не валял, он обернулся, поймал улыбку обормота — младшего своего братца — и сам заулыбался. Разве можно сердиться на Ваньку! От него ведь, сердись не сердись, толк один, а близких людей надо принимать такими, какие они есть, даже если упрямы, как этот. В конце концов, он имеет право сам выбрать свою единственную дорогу, какую ему, дураку, хочется. Свои мозги в чужую голову не вложить.

Вот уже и лето кончается, хорошее было в этом году лето: с жарой, с грозами, с тихими теплыми ночами, когда можно в одной рубашке, без пиджака, сидеть у реки на обрыве. Август еще не прошел, а в садах уже наперегонки поспевают яблоки, на участке покойного Ехалова вся земля ими усыпана. Завещание Василия Ивановича не вступило еще в законную силу, но в доме уже идет ремонт. Рабочие из ремстройконторы настелили новую крышу и починили крыльцо, а во дворе вкопали два толстых столба для качелей.

Зинаида из чайной как-то принесла Галкину с Иваном целое ведро яблок, поставила на кухне и заявила:

— С вашего, Иван Васильевич, сада. Пошла и насобираала, а то сил нет смотреть, как эти оглоеды плотники, обожравши, яблоками друг в друга кидаются. Сразу видно — не свое. Надо было вам деревья-то выкопать и продать, хотя бы и я купила или вон Матвей Ильич, у их не те сорта, не сахарные.

Альфа прижилась на новом месте быстро, будку ее Иван перенес на участок Галкина, но будка — это так, для балды, символ собачьей жизни, Альфа все равно спала и ела в доме. Пыталась она ночью забираться

к Ивану на кровать, но он ее гонял. Здоровенная псина, как отец умещался на своем диване, когда она разваливалась у него в ногах?

На могиле Василия Ивановича все еще цвели, с самого мая цвели анютины глазки — Наталья посадила, рассаду из города с Кузнечного рынка привезла. Сейчас они все трое, Борис с женой и младший Василий, отдыхали в Ялте по курсовкам.

«...Ваську не выгнать из воды, — писал брат, — плавает как дельфин. Ты знаешь, он очень стал похож на своего деда, рослый будет парень. И характер хороший: добрый, отходчивый, только вот упрям как осел, в кого бы это, как ты думаешь?»

А Наташа приписала в самом конце:

«Ваня, здесь просто сказка! Посмотри на открытку — это главная Ялтинская набережная, по которой твои родственники каждый день фланируют в роскошных туалетах. Как ты себя чувствуешь, Ваня? Пиши. Тебе бы здесь очень понравилось, и климат замечательный, так что мы с Борисом решили: на будущий год он достанет тебе путевку в санаторий. Отвертеться не получится, так и знай».

Иван читал эту открытку, сидя на обрыве, на своем любимом месте, где река делает изгиб. Кончался воскресный день. Внизу по тропинке вдоль реки тянулись вереницей дачники с рюкзаками и авоськами, торопились на электричку. Каждого ждали его дела, его жизнь, которую он сам себе выбрал.

У Ивана его жизнь шла нормально, вполне даже хорошо. С Галкиным они ладили: каждый день, вернувшись с работы, Иван заставлял накрытый к обеду стол, и меню обеда всегда бывало новым, — Матвей Ильич осваивал рецепты новых блюд по руководству под названием «Девочки, книга для вас!». В книге этой, представляете, Ваня, кроме кулинарных, большое количество ценнейших сведений — как, например, мыть стекла

или чистить серебро, как ухаживать за комнатными цветами и даже как самому скроить и сшить себе передник. До шитья Галкин еще не дошел, но готовил вкусно, хотя свои заслуги в этом деле отрицал, все приписывал Ивану, потому что в каждом деле главное — стимул, а для себя одного готовить неинтересно.

Забавные они ребята, эти старики. Вчера вечером, посмотрев по телевизору «Очевидное-невероятное», Галкин завел с Иваном разговор о том, что по телевидению, по радио, а также в печати часто преувеличивают. Ради сенсаций или для рекламы. Взять, например, все эти передачи о долгожителях или заграничные «утки» о том, что будто существует загробная жизнь.

— Покойный Василий Иванович говорил мне, — сказал Галкин, усмехаясь и сверля Ивана глазами, — про какой-то американский журнал. Что-то о реанимации — я уж не помню. Одним словом, какой-то идеалистический нонсенс.

— Никакого идеализма, — Иван посмотрел старику в глаза твердым взглядом, — я своими собственными глазами читал эту статью.

— Думаете, не липа? — Галкин даже привстал со стула.

— Доля правды есть. Журнал-то научный.

Матвей Ильич задумался, а потом спросил, правда ли, что поселковый Совет предлагает Ивану комнату в новом каменном доме.

— Обещали, — сказал Иван, — а только это не скоро еще, в конце ноября.

— Ах, не скоро... — завелся Галкин, — а вам надо срочно! Я, конечно, понимаю, ваш благородный характер не позволяет вам обидеть отказом поселковый Совет! Тем более что комната вам выделена в награду за то, что не нарушили отцовской воли, отдали дом детишкам. А могли бы и судиться! И, естественно, здесь у меня вам не могут быть предоставлены те прелести уюта и ком-

форта, которые вы получите там в виде коммунальной кухни и душа. Тут у нас, пардон, сортир во дворе, это кошмар, правда, Альфа? И скучища! Никто за стеной не крутит пластинки, не играет на гармонии, никто не пляшет над головой, не поют хором «Повяли ландыши, засохли...» эти... тьфу, как их там?

— Лютики, Матвей Ильич.

— Именно. Так что бегите, бегите, молодой человек! Культура и цивилизация в наше время — это все.

— Зато вы тоже сможете приходиться ко мне мыться под душем. А, Матвей Ильич? А летом мы с Альфой будем жить здесь у вас — сторожить огород и наслаждаться тишиной. И перестаньте злиться, должен я или нет, наконец, начать совершать поступки? Отец меня ругал за пассивность, а вы теперь, когда я готовлюсь сделать крутой поворот, начать новую жизнь в новой квартире, мешаєте мне выйти на оперативный простор.

— Вы, господин Ехалов, с позволения сказать, трепло! — заявил адвокат Галкин. И поднял палец. — Когда ваш батюшка, царство ему небесное, лишил вас родового имения, он хотел подвигнуть вас на большие дела, на свершения и подвиги. А вы? Комната в шестиэтажном доме плюс карьера в фирме «Дом быта»? Вы теперь кто? Генеральный директор?

— Заведующий. Повышение не повышение, а двадцатник прибавили. Надо кому-то работать и в сфере обслуживания, не правда ли? Что же касается особо выдающихся подвигов и героизма, то извините, гражданин прокурор, — здоровье.

— Тунеядец и симулянт! — радостно констатировал Галкин. — Врите про свою чахотку кому угодно, только не старой лисе с высшим юридическим образованием. Не далее как в апреле сего года, при жизни еще Василия Ивановича, взяв с меня подписку о неразглашении, вы в своих показаниях заявили, будто врач из диспансера заверил вас, что вы практически здоровый человек.

А Борису от своего идиотского благородства про вспышку набрехали. Чтобы его, беднягу, совесть не мучила: мол, квартиру захáпал. «Ване в городе жить нельзя, доктор запретил». И все довольны. Так?

Иван не ответил.

— Отказ от дачи показаний по предъявленному обвинению — право обвиняемого, однако чистосердечное признание смягчает вину — пункт тринадцатый комментариев к статье сорок шестой УПК РСФСР. Будете отвечать?

— Понта нет, начальник.

— Хорошо, так и запишем: обвиняемый отказался давать показания ввиду отсутствия у него понта. Ну, а как насчет того, что вы. . .

— . . .Лентяй и бездельник, лишенный всяких стремлений к цели? Признаю.

— То-то. А теперь принесите мне сигареты, они в кармане плаща. Ничего, ничего, сходите, я — дряхлый старик, готовящийся к загробной жизни, а вы — здоровый мужик, большой начальник, сами только что признались.

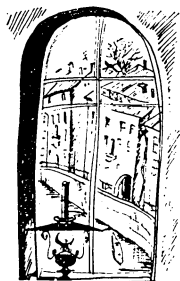
Вот такая беседа состоялась вчера в доме адвоката Галкина М. И. Альфа тоже при этом присутствовала, хозяйина своего не одобряла и явно была на стороне Матвея Ильича. И в самом деле, что за радость переезжать в каменный дом, где придется целыми днями сидеть одной в четырех стенах, и неизвестно еще, какие окажутся соседи, может, которые люто ненавидят собак. Этот аргумент по поручению бессловесной Альфы тоже приводил Галкин.

Сейчас Альфа лежала рядом с Иваном на траве и смотрела вдаль, положив морду на лапы, застывшая, как гранитный набережный лев. Сумерки уже подступали, от реки пополз туман. Медленно поднимался он, заволакивая красный обрыв с пещерами, медленно темнело за

рекой небо, только узкая полоска светилась еще над лесом. Иван поднялся с земли и свистнул Альфе.

Можно было идти напрямик — вниз и через мост, можно — дальним путем, мимо Дома отдыха, откуда доносилась радиола. Какой захочется, той дорогой и можно было идти.

Солнце село, погасла полоска над лесом. Иван с Альфой отправились домой через мост. За мостом дорога петляла, а потом выпрямилась. Неожиданно закрапал дождь. Иван прибавил шагу, но дождь надал тоже. Альфа вопросительно глянула на хозяина, будто приглашала переждать под деревом, — а чего там переждать? Дождь был тугой и теплый, совсем еще летний, грибной.



## ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА

Когда инженер Иванов обнаружил у себя на антресолях эту лампу, он, конечно, и в мыслях не имел, что она сыграет такую роль в его дальнейшей жизни, иначе без промедления вынес бы ее на помойку или, в худшем случае, оставил продолжать пылиться

среди хлама.

Увы! Ни первого, ни второго не сделал горемыка Иванов, а напротив, вытащил лампу из груды старья и обтер с нее пыль.

Как хорошо и спокойно живется тому, кто переехал в наш город издалека, из какой-нибудь буколической сельской местности, где кругом ручейки да пригорки! Простившись с пригорками, он вселяется в новую квартиру, и сравниться с ним по везению могут, пожалуй, только здешние уроженцы, чей дом обветшал и постав-

лен на капитальный ремонт, а жильцы, погрузив свои вещи в фургон «Трансагентства», едут продолжать жизнь в только что отстроенном современном доме где-нибудь в Веселом поселке или там, где Теплый Стан переходит в Ясенево, одним словом — севернее Мушинского Ручья. Это далеко, зато со всеми удобствами, но речь не об удобствах, а о хламе. Хлам, как правило, накапливается в каждой семье, прожившей на одном месте столько лет, что дедушка, прадедушка и прапрабабушка здесь родились, выросли, жили и умерли, а ведь каждый из них, в силу отсутствия телефона и телевидения, приобрел за свою жизнь громадное количество писем, фотографий, книг, дневников, шляп, засушенных подвенечных цветов, и вот, поглядите: даже лампу с кружевным абажуром, похожим на паука, — ровесницу электрического освещения. Выбросить это добро рука не поднимается и не поднимается, и только тогда, дрогнув, поднимется, когда толкнет ее непреклонная необходимость в виде двух новеньких сугубо смежных комнат со встроенными шкафами, расположенными очень удобно и рационально и дающими весьма высокий технико-экономический эффект, если иметь в виду все что угодно, кроме хранения бесполезных (и вредных: у ребенка аллергия!) остатков прежней, так сказать, роскоши. «Кто старое помянет, тому глаз вон!» — вот девиз этих сверкающих квартир, но Иванов-то, Иванов наш, к несчастью, жил в старой, даже, можно сказать, старинной квартире на редкость кряжистого дома, о котором и думать смешно, что ему когда-нибудь может понадобиться ремонт.

Итак, Иванов достал с антресолей лампу, в древности принадлежавшую кому-то из предков. Он задумал поставить ее на журнальный столик, так как был человеком современным и не чуждым моде, а, согласно ей, считается очень красивым выставлять на видные места ископаемые вещи, извлеченные из сундуков и кладовок или даже купленные, причем иногда за такие деньги, что

рухлядь при этом автоматически приобретает ученое звание «антиквариат».

Ввинтив в патрон стосвечовую лампочку, Иванов тут же включил штепсель в розетку и был поражен. Конечно, он не понял, что лампа волшебная, сперва подумал: «Ах, черт возьми, какой же сегодня отличный день. И вообще...» А может быть, и не это он вовсе подумал, а просто взглянул в окно, был восхищен великолепной погодой и теми соображениями, что завтра погода непременно станет еще лучше. А потом он посмотрел в зеркало и увидел свое симпатичное, умное и благообразное лицо.

А потом ни с того ни с сего вспомнил один анекдот и громко захохотал, после чего не очень громко, но отчетливо запел популярную песню «К нам любовь пришла неожиданно». Тут как раз пришла его тетка.

Эта тетка, вполне безобидная с виду старушка, жила в убеждении, что является утонченной пожилой дамой с прошлым. Войдя в комнату и негодуяще остановившись в дверях, она молча смотрела на разухабистого племянника, и в глазах ее ясно читалось: «Что за вкус! Что за моветонские манеры?! Что за поколение выросло?!»

Иванов поймал этот взгляд и в ответ радостно ухмыльнулся. Вместо того чтобы привычно отметить сходство тетушки с бабой-ягой, он подумал, что надменным и загадочным выражением лица она даже напоминает ему какую-то прекрасную незнакомку. Может быть, Крамского? Или Блока? Да какое это имеет значение — и так, и так красота!

Он искренне любовался старухой, а та, стоя в дверях, залитая светом лампы, продолжала преображаться. Сперва на ее лице проклюнулась непривычная, а потому нерешительная улыбка, которой вначале было явно неуютно, но потом она, то есть улыбка, освоилась и расположилась по-хозяйски, придав старухиной физиономии



как бы некоторую удаль. Глаза заблестели, брови поползли вверх, и, подмигнув ошарашенному племяннику, тетя грациозно ступила в комнату и поплыла в каком-то странном танце, взмахивая руками, как будто она лебедь или по крайней мере морская чайка.

— Вот так номер, — пробормотал Иванов.

— Чтоб я помер, — скромно, но кокетливо парировала старуха, продолжая свой танец. И пояснила: — Вальс-гавот. Кстати, для чего ты выволок на свет божий эту рухлядь? — с изысканной улыбкой спросила она, указав на лампу.

— Для моды, — объяснил племянник, и тут они с теткой весело рассмеялись, а когда она кончила танцевать, сели пить чай с вареньем и медом, по телевизору же в это время шла передача «Спокойной ночи, малыши», удивительно увлекательная, забавная и интересная. Короче говоря, вечер удался.

А со следующего дня жизнь опять пошла по-прежнему. Как всегда. Как обычно.

Иванов любил после работы ходить в гости к знакомым, так как считал человеческое общение лучшей формой использования свободного времени. На этот раз он отправился к одной супружеской чете, жившей на соседней улице. Кстати, взял он с собой и антикварную лампу. Зачем? А просто так. Вернее, чтобы немного похвастаться. А главное, как тему для разговоров. Ведь человеческое общение должно быть содержательным, и смешно являться к людям, не подготовившись, чтобы тупо сидеть и хлебать чай, вяло обсуждая события, происшедшие на работе. Проблемы же антиквариата интересны всем без исключения, так что, заворачивая лампу в случившийся рядом полиэтилен, Иванов предчувствовал, сколько мыслей она вызовет.

Знакомые Иванова (фамилия их была Петровы) болели гриппом. Они сидели, нахохлясь, в крайне неубранной комнате и ели щи. Щи были невкусные, из консерв-

ной банки с надписью «Борщ», но ничего другого в доме не нашлось, на улицу же выйти ни муж, ни жена не могли из-за гриппа.

Иванов вошел к ним, держа в одной руке лампу, а в другой — продуктовую сумку, из которой тут же и вынул полкило сосисок, и банку малинового варенья, и пачку индийского чая, и батон, и половину круглого хлеба, и, наконец, пакет масла. Все эти яства он расположил на столе в виде натюрморта, а посередине стола поставил замечательную свою лампу и не без торжественности ее зажег. То, что последовало, заслуживает описания совсем другим слогом, нежели тот, каким мы тут изъяснялись до сих пор. Все мы, если вы заметили, часто говорим о вещах вполне серьезных и важных так, будто это чепуха какая-то, повод для шуток и смеха. А высоких слов вообще стесняемся и избегаем, чтобы не подумали, что мы дураки. Так что если события, случившиеся с нашим Ивановым, тут и описываются иногда как бы залихватским языком, вывод из этого уместно сделать только тот, что вся история слишком уж волнующа. Поэтому будем уж лучше подшучивать над ней, не то впадем в обличительный пафос, а то и в трагическую сентиментальность или, того хуже, в ложную многозначительность.

А приятели Иванова, супруги с гриппом, те и в самом деле впали. В сентиментальность. Да и как им, счастливым, было не впасть, если по неизвестной причине их расплзающаяся жизнь в несколько секунд, как говорится, поменяла знак минус на плюс и представилась во вполне привлекательном свете. Только что двое обрыдлых друг другу кашляющих и чихающих людей хлебали в грязной комнате омерзительные щи, непрерывно помня, что за квартиру не плачено, потому что вместо этого по обоюдной глупости, которую каждый, естественно, считал глупостью другого, куплено никому не нужное и на редкость безобразное кресло в стиле не приведи бог кого; только что сокрушительно болела голова и против-

но было думать о будущем, только что было очевидно, что окружающие — злы, завистливы, эгоистичны, хотя и умеют неплохо устроиться (мы бы так не могли), как вдруг оказалось: все не так уж скверно, а может быть, даже хорошо, да нет, братцы, очень даже хорошо, великолепно, грипп излечим, а комната наша — оригинальная и милая, особенно вон с тем антикварным креслом в углу, где сидит сейчас улыбаясь самый лучший, самый замечательный человек на земле, такой бескорыстный друг, красивый и остроумный!

Иванов сидел себе тихо в драгоценном кресле и внимал восхищенной чете, которая, перебивая друг друга, изумлялась, почему до сих пор, зная его чуть не с детских лет, не видела такой простой и очевидной вещи: этот человек, оказывается, самый лучший из всех, кого она когда-нибудь встречала в своей жизни. Сам же Иванов, слушая, вдруг понял, что по ошибке до сих пор считал их просто знакомыми, тогда как это были его друзья, едва ли не самые близкие ему люди. А еще он, пожалуй, первый раз в жизни осознал по-настоящему, что значит быть счастливым, и если бы некто любознательный спросил его, что же это наконец такое — счастье, он бы подумал: что это такое, он все же не знает, но нет ничего лучше, чем видеть радость на лицах друзей и знать, что именно ты им ее подарил. Именно ты.

Это он так подумал бы, а сказал бы совсем другое, возможно, даже глупую шутку, вроде того что счастье — это выиграть сто тысяч по трамвайному билету. Или что-нибудь еще глупее. Почему он так сказал бы, вы, вероятно, догадываетесь, мы ведь уже, помнится, обсуждали этот вопрос.

Иванов сидел и улыбался, а супруг Петров между тем ни с того ни с сего снял со стены гитару и запел старинный романс. Пел он с большим воодушевлением, и вот тут Иванову в первый раз пришла мысль: а дело-то, похоже, того. . . Все очень приятно и мило, но ведь рань-

ше этот Петров, помнится, никогда под гитару не пел. И вообще — с чего? Вина не пили. Слуха у него нет и голоса также. В комнате форменный хлев, а жена Петрова, пытающаяся ему подпевать, непрерывно чихает и кашляет. Так почему же такая радость?

И тогда ему вспомнилась тетка, исполняющая посреди комнаты вальс-гавот.

Иванов беспокойно покосился на старинную лампу, и та вдруг быстро подмигнула ему из-под своего паукообразного абажура.

Дело было в ней — ни в чем более. И Иванову сразу стало грустно, обидно и даже слегка совестно. Ведь выходило, что источником радости и веселья и вчера и сегодня был вовсе не он, а посторонняя лампа, предмет случайный, неодушевленный и, похоже, имеющий темное прошлое.

Супруги Петровы продолжали веселиться. То и дело кто-нибудь из них обращался к Иванову, он машинально и невпопад отвечал, а сам лихорадочно обдумывал ситуацию. В конце концов он додумался до одной вещи, а как только додумался, лампа подмигнула ему второй раз, причем так нагло, что хозяева дома высказали предположение: мол, в розетке наверняка нарушен контакт и сейчас произойдет короткое замыкание.

Иванову сделалось весело, хорошо и спокойно. Что из того, что именно лампа развлекала и, так сказать, тонизировала окружающих? Владельцем лампы был все-таки он, Иванов, он нашел ее среди хлама, где она могла бы валяться еще сто лет, он принес ее сюда, чтобы доставить друзьям удовольствие, а раз так, то, принимая восторги, он ничуть не жульничает и не присваивает чужих заслуг.

На этом месте его размышлений внезапно раздался треск, из розетки вылетели искры, и комната Петровых погрузилась во тьму.

Ничего страшного, впрочем, не случилось: пробку бы-

стро заменили, розетку отремонтировали, снова зажгли лампу, которую Иванов теперь про себя иначе не называл, как волшебной, и опять все было очень славно, только поздно и пора домой.

— Пойду, — сообщил Иванов, — а лампа пусть пока у вас. До следующего раза, во временное пользование. Пускай горит.

Когда он вернулся домой, тетка еще не спала, а сидела в неумолимой позе перед абсолютно темным телевизором.

— Какие будут свежие поветрия? — спросила она, не отрывая глаз от мертвого экрана. — Что нового на теле-тайпных лентах?

Иванов молчал. Он все еще находился в размягченном состоянии.

— Интересно, — не унималась тетка, — куда это девалась моя девичья лампа? Мне ее, помнится, подарил ко дню ангела граф Загурский, мой давний и преданный поклонник.

Графа Иванов хладнокровно пропустил мимо ушей. Во-первых, тетка была 1915 года рождения, а во-вторых, он уже привык к погибающим от любви к ней титулованным особам и знаменитостям с мировыми именами. Итак, игнорируя графа, он сразу пошел к телефону и позвонил своим Петровым, чтобы просто пожелать доброй ночи. Разбудив их звонком, он двадцать минут выслушивал речи, от которых на душе его теплело и расцветало, и он отчетливо решил, что назначение человека на этой земле — украшать существование близких своих.

С этими соображениями он и отправился поутру в институт, где работал научным сотрудником, и стал там трудиться над исследованиями, время от времени с удовольствием думая о Петровых — как он вечером непременно, непременно уж к ним зайдет, хоть тетка и намекала почти открытым текстом, что неплохо бы посидеть дома, ей, видите ли, одиноко и скучно, но это были обыч-

ные ее фокусы, и в конце концов не его, Иванова, вина, что в собственном доме ему менее уютно и приятно, чем у друзей. Тетка, что ей ни сделай, все принимает как должное, все недовольна, а Петровы. . . Петровы — это самые близкие его друзья, самые славные люди, странно, что он только теперь это так решительно понял.

Вечер у Петровых прошел на редкость интересно: снова, как вчера, все сидели вокруг стола, красивые и счастливые, и разговор шел о дружбе, товариществе и смысле жизни. Петровы опять несколько раз повторили Иванову, что он замечательный человек и необыкновенный друг, что они — по гроб, что кто бы ни спросил, они — всегда, одним словом, хороший был разговор, содержательный, и ох как не хотелось бедному Иванову возвращаться в этот вечер домой к бабе-яге с ее вечными упреками и притязаниями. Друзья это заметили и предложили ему остаться ночевать, но он объяснил им, что не может бросить старого человека, хотя, вероятно, и стоило бы — в чисто педагогических целях. И они согласились: бросить нельзя, хотя многие, несмотря ни на что, бросают, но вот Иванов-то не такой, чего уж тут! Иванов ушел, а лампу опять оставил — пускай себе посветит друзьям еще какое-то время.

Прошел месяц, даже полтора. Иванов приходил к своим знакомым почти каждый вечер, и его всегда встречали радушно и с большой теплотой. Все было как будто бы как прежде, как в самом начале, — лампа посреди стола, чай с халвой. Но вот разговоры. . . То обсуждали демографический взрыв, то Петров принимался излагать свои соображения про жизнь в космосе. . . Иванов украдкой посматривал на часы, это удивительно — какими длинными вдруг сделались вечера. Кроме того, появился еще один момент, который не то что раздражал его, но все же вызывал некоторую досаду. Дело в том, что с некоторых пор отношение Петровых к лампе сделалось, мягко выражаясь, не совсем нормальным. Из неодошев-

ленной вещи она превратилась для них в лучшего друга, чуть ли не в члена семьи. Горела она не только вечером, но и днем, когда за окном сияло солнце. Смешно, но Петровы называли ее теперь не иначе как «лампион». Как-то раз, сидя за столом, Иванов случайно задел лампу локтем и тут же поймал откровенно неприязненный взгляд хозяйки. Черт знает что!

Чаще и чаще стала приходиться Иванову на ум мысль, что он совсем забросил других своих знакомых, которые ни в чем не виноваты и ничуть не хуже и не глупее этих Петровых, сотворивших себе кумир из чужой старой лампы. В один прекрасный день он сказал Петровым, что, пожалуй, заберет сегодня вещь: надо показать ее и другим приятелям.

Шагая с лампой в руках по тихой заснеженной улице, он смотрел на чужие освещенные окна, за которыми жили совсем незнакомые люди со своими заботами, радостями и неприятностями. Смотрел и представлял себе, что вон за тем окном, вон, в третьем этаже, где такая тусклая лампочка, сидит сейчас какая-нибудь одинокая старая женщина, пьет жидкий остывший чай из чашки с отбитой ручкой, смотрит, подслеповато щурясь, в телевизор, где мелькают одинаковые хоккеисты, и не с кем ей перекинуться словом, и вчера было не с кем. И завтра будет. И вот он, Иванов, звонит к ней в дверь, входит без приглашения, зажигает свою волшебную лампу, и тут...

Размышления его были внезапно прерваны встречей с бывшим одноклассником. Тот очень обрадовался и затасил Иванова к себе выпить чаю. В доме у него было удивительно уютно, и вообще он производил впечатление человека удачливого и благополучного, но несколько рационалистического, так что Иванов даже слегка засомневался, стоит ли здесь демонстрировать волшебную лампу. Но когда она все же была включена, им с приятелем сразу стало так хорошо, до того они понравились

друг другу, что просидели до утра уже отнюдь не за чаем, вспоминая детские годы и кто кого когда побил и столкнул с парты. Уже под утро школьный друг Иванова признался, что в общем-то, несмотря на кажущееся благополучие, он был до сегодняшнего дня довольно одинок и даже начал смиряться с этим, объясняя все своим неживчивым характером и мнительностью, но теперь с одиночеством покончено — у него есть настоящий друг.

Иванов ушел, а лампу оставил пока у приятеля, впрочем, у друга, конечно, у друга: за длинную ночь, проведенную в разговорах, выяснилось, что их взгляды, вкусы и убеждения настолько совпадают, что приходилось только поражаться, как это они смогли прожить, не общаясь, столько лет.

Дома тетя со змеиным акцентом спросила племянника, какие нынче поветрия и где он, интересно бы знать, провел ночь. Лично она, к слову сказать, не спала ни единой минуты: волновалась, не попал ли он под трамвай.

Выслушав взволнованный рассказ про школьного друга, она ни к селу ни к городу сообщила, что лампа, которую Иванов «носит, слоняясь из дома в дом, как попова корова», — ее приданое, выписана еще покойным батюшкой из Парижа, и она просит незамедлительно вернуть ей означенный предмет.

Иванов не стал пререкаться с теткой, давно привык к ее штучкам, да и времени на это не оставалось — надо было сломя голову бежать на работу. А после работы он, естественно, отправился к школьному другу.

Каждый вечер они проводили теперь вместе: друг его ждал, советовался с ним по каждому поводу, рассказывал все, что с ним случилось за день, повторяя, что без Иванова он бы давно пропал, что. . . и многое еще. А весной друг влюбился.

Люди, которые влюблены, довольно странные ребята и весьма скучные собеседники. Зануды. Говорить они



способны только на одну-единственную тему, и сбить их с нее нет никакой возможности. Винить тут некого, так, видно, для чего-то устроила природа; Иванов и не винил никого, но выслушивать изо дня в день однообразные исповеди глупеющего на глазах приятеля? Если бы еще его любовь была взаимной! Иванову, получающему каждый вечер подробный отчет о том, что «она» сказала и по какому поводу, было вполне очевидно, что женщина эта в упор не видит его знакомого. Самому же влюбленному угодно было обманываться, истолковывать ее слова обратно смыслу, который в них вложен, требовать от Иванова, чтобы он подтверждал, что надежда все же есть. . . одним словом, бесконечная утомительная тягомотина, а тут еще Иванов внезапно вспомнил, что давным-давно не был у их общего старого учителя Герберта Исидоровича, а тому, как физику, наверняка тоже было бы любопытно посмотреть на волшебную лампу.

И вот Иванов брел по сверкающей весенней улице с лампой в руках и представлял себе, как в лучах его волшебного светильника преобразится и заиграет всеми красками тусклая жизнь одинокого, никому не нужного старика.

Накануне тетя распоясалась до последней степени и кричала, что она — несчастная, всеми заброшенная старуха, у которой украли ее единственную лампу, дорогую память о покойном друге, величайшем в мире покорителе высочайших горных вершин! Это было просто нахальство, и Иванов напомнил старой ведьме, что лампа десятки лет валялась на антресолях среди пауков, еще более никому не нужная, чем сама тетя, теперь же эта лампа дает радость и веселье людям. Тетка грозилась и пророчествовала. И накликала.

Как-то уже в конце лета, темной и душной ночью, когда Иванов, уставший от загородной прогулки со своими новыми друзьями, спал, все те, у кого ранее побывала лампа, а именно: чета Петровых, одуревший от несчаст-

ной любви одноклассник и учитель физики Герберт Исидорович, явились к нему, где-то заранее собравшись, и позвонили в дверь. Тетка впустила их в квартиру и тут же, в коридоре, сообщила, что лампа, подаренная ей одним космонавтом и присвоенная племянником, как раз дома, но завтра он ее собирался отнести этим... как их? .. в общем, новым! новым! — своим знакомым.

Пришельцы вошли в комнату, где спал Иванов, обступили диван, и Герберт Исидорович включил волшебную лампу, стоящую на журнальном столике. От ее резкого света Иванов проснулся и сел, изумленно моргая и улыбаясь, но ответных улыбок не последовало, напротив, бывшие друзья заявили ему, что их больше не обманешь и не обольстишь и они пришли сюда специально и исключительно для того, чтобы сказать ему, какой он все-таки мелкий, тщеславный и безответственный человечиска. Шепотом Иванов спросил, что же он им сделал. Наступила возмущенная пауза. Затем Герберт Исидорович раздельно, как бывало на уроке, отчеканил:

— Ты. Забрал. Лампу. У каждого из нас ты ее отнял. *Отнял!* Вот что ты сделал. — После чего гости сразу удалились, тетка вышла их проводить, а Иванов остался неподвижно сидеть на диване.

И тут погас свет.

— Пробки, — констатировала тетка откуда-то из мрака. — Я же говорила: нельзя ставить «жучков». Погоди, еще сгорим.

Потом долго искали свечу. Потом Иванов ставил очередного «жучка». Потом зажглось наконец электричество, тогда Иванов пошел к себе в комнату и сел на диван. И увидел, что волшебной лампы на столике нет. Более того, на том месте, где она только что была, неподвижно сидит в развязной позе паук с неприятными мохнатыми лапами.

— Кыш! — ошеломленно велел Иванов пауку. Тот сперва помедлил, подумал, а потом вдруг усмехнулся,

сорвался с места и, квалифицированно перебирая своими гадкими конечностями, побежал по краю стола, спустился по ножке, пересек комнату по диагонали и исчез за платяным шкафом.

И тогда Иванов явственно услышал всхлипывания. Он повернулся и увидел свою тетку, стоящую в дверях с непогашенной свечкой в руке. Со свечки капало на паркет, по теткиным щекам катились слезы, тоже капали на паркет и, как это ни странно, застывали на нем подобно воску со свечки — в виде прозрачных ледяных чешуек, блестящих до рези в глазах.

Вот на этом мы, пожалуй, и закончим наш рассказ, так как сказать нам больше нечего, разве что признаться, что не только у Иванова, но даже у автора вся эта грустная история оставляет чувство растерянности и изумления. Ведь если разобраться, этот Иванов... нет! Все-таки — нет. Но, с другой стороны, если принять во внимание, что род человеческий... Но с такими мыслями жить решительно нельзя!



## ЧУДОВИЩЕ

— Лучше уж пускай бы как раньше, — сказала тетя Геля и вытерла глаза.

— Как раньше?! Благодарю вас! Хорошенькое дело: «как раньше!» — так и задохнулась Анна Львовна. — Я всю жизнь живу в этой квартире и всю жизнь варю суп в комнате на плитке,

почти не пользуюсь газом. И вынуждена была до последнего буквально времени ходить в баню, хотя у нас есть ванна. Я боялась лишний раз выйти в туалет, не говоря уж о том, что моя личная жизнь...

— Нет, лучше бы как раньше, — упрямо повторила тетя Геля, — на это я просто смотреть не могу.

Я-то лично к Чудовищу привыкла и не очень боялась его даже в детстве. Я родилась, когда оно уже поселилось в нашей квартире, и для меня не было ничего необычного в том, что в коридоре около ванной или в кухне можно встретить косматое существо с одним багровым глазом посреди лба, с длинным чешуйчатым хвостом... Да что там описывать — чудовище как чудовище, не чудовищнее других.

Говорят, еще до моего рождения наши жильцы обращались куда-то с заявлением, чтобы Чудовище отселили в другое место, чтобы даже предоставили ему отдельную квартиру. Но им отказали — мол, если все отдельные квартиры раздавать чудовищам, то куда же тогда селить многодетные семьи, мол, чудовищ много, а квартир мало, а наш случай, они так и сказали: «Ваш случай еще не самый тяжелый, — ни одного смертельного исхода или тяжкого телесного повреждения».

А то, что мужа Анны Львовны на целый месяц сделали алюминиевой кастрюлей, так это, оказывается, не тяжкое повреждение. Муж этот, говорят, как очухался после того, что в нем месяц варили борщи и тушили мясо, так сразу и ушел к другой, а Анна Львовна осталась одна и с тех пор не может простить Чудовищу, что оно разбило ей жизнь. Чудовище, правда, давало честное слово, что превратило мужа Анны Львовны в кастрюлю именно за то, что тот каждый вечер звонил из коридора по телефону своей даме и сюсюкал с ней, и он, дескать, все равно бы ушел, а так поневоле лишний месяц прожил дома, хоть и в виде кастрюли.

Не знаю, чем кончилась бы эта история — Анна Львовна, говорят, грозилась подсунуть Чудовищу в миску перегоревшую электрическую лампочку, — но тут Чу-

довище надолго уехало в какую-то экспедицию с музеем этнографии и антропологии, где служило экспонатом.

Потом история с мужем Анны Львовны как-то забылась, но у Чудовища с возрастом стал портиться характер, и оно жильцам буквально прохода не давало.

То приходишь в ванную комнату, а в раковине и в ванне полно лягушек и тритонов, то вдруг все холодильники начинают противно завывать и греться и в них закипает молоко и печется мясо, то у несчастной Анны Львовны на носу вскакивает невероятных размеров прыщ и каждый день меняет окраску: сегодня он синий, завтра — лиловый, а послезавтра — ядовито-зеленый.

Надо сказать, что с тетей Гелей у Чудовища были какие-то более ровные отношения, — найдет она у себя в буфете вместо хлеба черепаху — и радуется: «Смотрите, рептилия! Я ее сейчас отнесу в детский сад, в живой уголок!»

Меня в детстве, как я сейчас понимаю, Чудовище просто терпеть не могло, так я его раздражала. И тем, что с топотом бегала взад-вперед по коридору, и что громко смеялась, и в комнату к нему любила заглядывать. Поэтому Чудовище вечно устраивало мне ангины. Не очень тяжелые, но такие, что и не посмеешься — голоса нет, и не побегаешь — укладывают в постель.

Когда я выросла, Чудовище одно время очень мне вредило: стоило позвонить по телефону какому-нибудь знакомому, как оно всегда успевало раньше всех схватить трубку и прошипеть: «Нету. Ушла на свидание к другому».

Сейчас я живу одна. Родителей уже нет, семьи не получилось, тетя Геля, соседка, опекает меня, как может, а Чудовище. . . Во всяком случае, изводить меня оно перестало. Ну, конечно, стоит мне поздно вернуться из театра или из гостей — тут уж обязательно или споткнусь в коридоре о кота, которого у нас никогда не бывало, или новое платье разорву о колючую проволоку.

Но это так, мелочи. А последнее время и того нет, последнее время с Чудовищем что-то творится, не узнать его: глаз из красного сделался каким-то грязно-рыжим, шерсть поседела — одним словом, стареет наше Чудовище. На службу оно теперь не ходит, сидит целыми днями у себя в комнате и то шипит, то вздыхает. И вот сегодня тетя Геля как раз сказала, что лучше бы уж все оставалось по-старому, а то у нее душа болит смотреть на Чудовище и сил больше нет подметать за ним чешую.

— Что касается этой мерзкой чешуи, — заявила Анна Львовна, — то тут я с вами, Ангелина Николаевна, целиком и полностью согласна: это безобразие! Надо заставить его дежурить лишнюю неделю, никто не обязан убирать за ним грязь!

Тут разговор прекратился, потому что дверь чудовищевой комнаты громко закрипела, а через минуту и оно само появилось на кухне.

— Моете мне кости? — спросило Чудовище, и глаз его слегка порозовел. — Ну-ну... А вот я сейчас вас всех простужу! Такого холоду наделаю!

И Чудовище принялось дуть, отчего щеки его сразу посинели, а голова мелко затряслась.

— Ф-ф-у-у! — дуло Чудовище, и вдруг я заметила, что тетя Геля дрожит и припрыгивает на одном месте, постукивая ногой об ногу и потирая нос, будто он у нее отморозен.

— Хо-о-лодно! Хо-о-лодно! — жалобно тянула тетя Геля и зачем-то подмигивала мне. — Ты что стоишь? — вдруг закричала она. — Двигайся! Двигайся! Не то — верная пневмония! Руки на пояс! Приседай!

Мне было не то что не холодно, а даже довольно жарко, тем более что дело происходило на кухне, где были зажжены все конфорки. Но тетя Геля так подмигивала и кричала, что я уперла руки в бока и начала приседать.

— Ага! Ага! — обрадовалось Чудовище. — То-т-то же! Попляшете теперь у меня!

Не успела я опомниться, как тетя Геля схватила меня за руку и стала вскидывать ноги в каком-то дикарском танце. Я топталась рядом.

— Сумасшедший дом какой-то! — гневно заявила Анна Львовна и вышла из кухни.

Чудовище испуганно посмотрело ей вслед, потом перевело взгляд на пляшущую тетю Гелю и тихим голосом спросило:

— Почему она не пляшет? Почему она ушла?

— Она око-че-не-ла! — задыхаясь, выкрикнула тетя Геля, продолжая танец. — Понимаете меня?

Но Чудовище уже забыло, о чем спрашивало. Везя хвост и оставляя на полу след чешуи, оно подошло к своему холодильнику и открыло дверцу.

— Где же кость? — растерянно сказала Чудовище. — Ведь я помню. . . Вчера была здесь, я купило ее в гастрономе. . .

— Ваша кость? Так вот же она, вы утром сварили из нее бульон, помните? — притоптывая, тетя Геля протягивала Чудовищу свою белую кастрюлю с супом.

— Разве? Хм. . . — Чудовище недоуменно уставилось в кастрюлю: — У меня не было такой миски.

— Ваша, ваша мисочка, я ее немножко почистила — вот и все.

— А-а-а! — загремело Чудовище. — Так вы посмели трогать мою миску?! Я запрещаю! За это. . . За это вы обе. . . Окаменеть сейчас на тридцать пять минут!

Тетя Геля тут же застыла, как в детской игре в «замри», а у меня как назло зачесался нос, и я подняла было руку, но тетя Геля вдруг незаметно, но очень больно ущипнула меня за бок, и я замерла тоже.

Чудовище окинуло нас победным взглядом, потом выхватило из тети Гелиной кастрюли вареную курицу и сжевало ее целиком.

— Прре-красная кость! — проурчало Чудовище, облизнулось и сжалилось над нами.

— Можете идти, — разрешило оно и важно удалилось из кухни, прихлебывая суп через край кастрюли.

— Зачем вы отдали ему весь свой обед? — спросила я, когда дверь за Чудовищем закрылась. — И где его кость, в самом деле?

— Да не было у него никаких костей, — махнула рукой тетя Геля, — оно и в магазин-то уже неделю не ходило.

— Так чего же оно ищет?

— А кто его знает! Может, забыло. А может, просто так, хочет показать, что все в порядке. А у самого — денег ни копейки, голодное сидит.

— А пенсия?

— Какая там у него пенсия? Оно же — экспонат, его... списали. — Тетя Геля понизила голос. — Его как бы нету. Я вот за комнату теперь боюсь, не выселили бы его. Ты только смотри Анне Львовне ничего не говори.

— Не скажу, — сказала я тоже шепотом.

Кости и фарш мы с тетей Гелей покупали теперь по очереди в домашней кухне и клали Чудовищу в холодильник. Как-то тетя Геля положила туда еще два яблока и пакет с кефиром.

— Что это — все мясо да мясо! Так и желудок можно испортить, — сказала она. — Я хотела ему кефир в бутылке взять, так оно ведь целиком все глотает, лучше уж пакет.

— Яблоки точно выкинет, — сказала я.

— Посмотрим. Может, не сообразит, оно последнее время видеть плохо стало, — тут тетя Геля оглянулась на дверь, в кухню входила Анна Львовна.

— Смотрю я на вас обеих, — заявила Анна Львовна, — и, право же, становится смешно. Вся эта ваша тайная благотворительность — думаете, не вижу? Все это



притворство, одним словом — спектакль! И, главное, ради кого! Был бы человек, а то... нечисть какая-то.

— Неужели вам не жалко, оно же старое, — сказала я.

— Жалость, милая моя, не то чувство, которым можно хвастать, жалость унижает. А уж в данном случае, — она поставила кофейник на плиту, — в данном случае говорить вообще не о чем. Еще пока оно приносило какую-то пользу в своей... кунсткамере, можно было терпеть, а сейчас... Животное должно жить в лесу.

Чудовище вошло в кухню так тихо, что мы даже не заметили. Оно стояло в дверях, и глаз его багровел, как когда-то в далекой молодости...

— Так... значит — животное... — медленно произнесло Чудовище и опустилось на табуретку. — Сейчас я вам покажу.

Оно тяжело и прерывисто дышало, редкая седая шерсть на его голове и шее поднялась дыбом.

— Сейчас... у вас подкосятся... ноги... да! Ноги! И вы все... упадете... на пол, а потом... Раз! Два! Три! На пол!

Мы с тетей Гелей грохнулись одновременно. Анна Львовна продолжала стоять, прислонившись к краю плиты, и усмехалась, глядя Чудовищу прямо в глаз.

— А ты? — спросило Чудовище. — Тебя не касается? Почему не падаешь?

— А с какой это стати я должна падать, скажите на милость? — ощерилась Анна Львовна.

— Так я же тебя заколдовало.

— Ой, уморил, — Анна Львовна подошла к Чудовищу вплотную. — Колдун нашелся! Да ты только и можешь, что мусорить чешуей да подъедать чужие подачки! Тебя скоро в утиль сдадут, рухлядь такую! Ты никто! Ты — списан!

— Спи-сан? — шепотом повторило Чудовище. — Это

кто списан? Я списано? Неправда! Неправда! Я все могу! Посмотри на них, они упали, упали!

— Ха-ха-ха! — заливалась Анна Львовна. — Да они притворяются. Из жалости — понятно? А ты — списан! Я сама была в музее и видела акт.

— Нет! — Чудовище вскочило с табуретки и заметалось от двери к плите, колотя по полу совсем уже облезлым хвостом. — Я тебе сейчас покажу. Я превращу тебя в крысу! В крысу!

— Ха-ха-ха! — только и ответила Анна Львовна и вдруг изо всех сил каблуком наступила Чудовищу на хвост.

Чудовище закричало. Крупные слезы одна за другой покатались из глаза, ставшего сразу бледно-голубым и тусклым. Мы с тетей Гелей вскочили с полу.

— Как вам не стыдно! Пустите его! Пожилой человек, а такая жестокость!

— В крысу! В крысу! — шипело Чудовище, не помня себя, и тыкало Анну Львовну в плечо темным скрюченным пальцем. — Раз! Два! Три! . .

— Ха-ха-ха! — веселилась Анна Львовна.

И тут закричали мы с тетей Гелей:

— Крыса! Крыса! — кричали мы. — Подлая крыса! Гадина! Раз! Два! Три!

И вдруг не стало Анны Львовны.

Только что она хохотала нам в лицо, двигала плечами в белой блузке, и — нету. Совсем нету, будто и не было никогда.

В кухне стало тихо. Что-то живое ударилось об мою ногу и сразу отскочило к стене. Я завизжала и полезла на табуретку.

Большая серая крыса пересекла кухню и юркнула под стол Анны Львовны. Чудовище тихо всхлипывало, отвернувшись к стене.

— Вот видите, — сказала тетя Геля, — все у вас получилось. Не надо плакать. Пойдемте есть суп.

— Это у вас получилось, а я... я ведь и правда списано. Есть акт.

— Да какое нам дело до акта, — тетя Геля осторожно гладила Чудовище по шерсти, — не бойтесь вы никого. А если вас кто-нибудь тронет, я напушу на него... муравьев.

— И я напушу! — сказала я. — Ладно?

Чудовище не ответило. Привалившись к стене, оно дремало, закрыв глаз и обмотав ноги тонким голым хвостом.



## КУСОК НЕБА

Серый, неопрятный и совсем непривлекательный кусок неба оторвался откуда-то и пролез ко мне в открытую форточку. Он выбрал себе место в углу за письменным столом, как раз там, откуда я вот уже целую неделю собиралась вымести паутину, и поселился, подо-

брав под себя рваные края.

Вот сейчас вы скажете: «Так и есть, начинается теперь символизм, интересно знать, что она имеет в виду под этим куском неба, небось, душу там или какие-нибудь еще переживания». А вовсе нет, напрасно вы это. Речь идет об обыкновенном натуральном куске нашего осеннего ленинградского неба, довольно грязном, между прочим, закопченном и неприветливом куске, который подозрительно и злобно поглядывает на меня, устроившись между тумбочками письменного стола.

Ночью он меня пытался охмурить: синел, чернел, за-

жигал какие-то огни, а ближе к утру начал багроветь и накаляться. Выглядело это весьма угрожающе.

А сейчас опять — серый в белесых разводах.

Раньше, еще вчера утром, можно было в любой момент задернуть занавески и никакого дела не иметь ни с каким небом — будь в нем хоть солнце, хоть тучи, хоть звезды, хоть — вообще ничего. Задернуть занавески, зажечь свет и остаться одной. А что теперь? Как ни повернись, все наткнешься на его взгляд, о чем ни подумаешь — он тут как тут, ухмыляется из-под стола.

— Что это ты, — подмигивает, — о себе вообразила? Посмотришь в зеркало. А? . . Ну — какова?

— Какова, какова. . . Не твое дело, — отвечаю, а он немедленно начинает хохотать, даже стол весь трясется, даже пепельница на пол съехала и из нее высыпались окурки.

Уже сутки он тут. Я, конечно, пробовала от него избавиться: собрала, завернула в простыню, вышла во двор и там вытряхнула.

Вернулся.

Перед этим залепил окно, прямо заклеил, в комнате стало темно, но это еще ладно, можно свет зажечь, а вот что дышать сделалось нечем — это уже другое дело: точно весь воздух из комнаты он всосал, как губка, остались четыре стены, а посередине — безвоздушное пространство, ни глотка не вдохнуть, черные круги перед глазами.

Пришлось приоткрыть форточку, и он сразу влез в нее, проворно так протиснулся, скользнул в свой угол и лежит.

Странно, что я почему-то до сих еще его как следует не разглядела, так — посмотрю вскользь и отворачиваюсь, не хочется разглядывать. И вот решила — подошла, села рядом на пол. Глаза серые, печальные, вопросительные, брови с сединой, а под глазами — мешки и морщины. Рот. . . Да не хочу я его рассматривать! По-

чему я обязана его рассматривать? Я и знать про него не желаю — вот закрою газетой, пускай валяется сколько угодно под столом.

Только все это без толку — под газетой он воет. Низким гнусавым голосом, на одной ноте, негромко, но непрерывно голосит. Снимешь газету — замолкает. Уставится своими несчастными глазами и помалкивает.

Повторяю еще раз, последний — я ничего не хочу этим сказать, ни на что не намекаю, никакого тайного смысла здесь нет. Есть серый кусок неба. Только что, буквально, пока я писала последнюю строчку, он выполз из-под стола, взгромоздился мне на колени и смотрит, что я пишу.

Вы спросите — хорошо это или плохо? Опять скажете: что же он должен символизировать, этот огрызок неба в комнате?

Да ничего не должен, господи боже мой! И не хорошо, и не плохо. Лежит у меня на коленях, а в настоящий момент, например, из него идет снег.

## ПРОХОР



Прохор постучал мне в окно. Я влезла на подоконник и высунулась в форточку.

- Ты что — свободен сегодня?
- До обеда. Пошли гулять, а?
- У тебя на спине целый сугроб.
- С утра шел снег. Выходи, я тебя жду.

Я оделась и вышла во двор, захватив с собой веник. Счистила снег у него со спины и с боков, обломала с ушей сосульки.

— Как тебя отпускают в такую погоду? — сказала я. — Смотри, догуляешься до воспаления легких.

— А разве у слонов бывают легкие? — удивился Прохор. — Я думал: только у людей. . . или, в крайнем случае, у собак.

Мы вышли из ворот и медленно двинулись по тротуару. Прохожие, глядя прямо перед собой, обтекали нас слева и справа, и никто не остановился, никто не оглянулся нам вслед.

Было двенадцать часов. Дети еще не вернулись из школы. Пенсионеры, домохозяйки, сбежавшие с лекций студенты да обалделые командировочные встречались нам на тротуаре.

— Бабушка! Да бабушка же! Смотри — слон! Живой!

— Что ты дергаешь? Всю руку оторвал! Какой там еще слон? Ах, слон. Ну и что? Подумаешь, не видал, что ли, слонов никогда. Пошли быстрее, очередь пройдет!

— А мы — куда? — спросила я Прохора.

— Я бы поел, — застенчиво признался он.

Я зашла в овощной магазин и выбрала два самых больших и зеленых кочана капусты. Прохор сжевал их в полминуты и с интересом поглядывал на витрину булочной.

— На свадьбу берете? — спросила меня оживленная кассирша, когда я расплачивалась за восемь батонов.

— Это — слону, — объяснила я.

— А-а. . . — протянула кассирша разочарованно, и тотчас же из очереди раздался голос:

— Вот! Мясо собакам берут, а теперь еще и слонов развели!

Квадратная баба в фетровой шляпе, колом стоящей на голове, надвигалась на меня.

— Бесятся с жиру. Не знают, куда деньги девать!

Следом за мной она вылезла из булочной, злобно

пихнула плечом перегородившего тротуар Прохора и, прошипев: «Госс-с!» — заковыляла прочь.

Прохор как ребенок. Через пять минут он запросил пить. Летом мы спустились бы с ним к реке или я нашла бы кран для шланга, которым поливают улицу. А сейчас?

Мы встали в длинную очередь к пивному ларьку. Очередь галдела, обсуждала события на Ближнем Востоке, крыла вратаря хоккейной команды. На нас с Прохором никто внимания не обращал, только продавщица высунулась из окошка и крикнула:

— Пиво кончается! За гражданкой со слоном не занимайте!

Прохор выпил шесть больших и одну маленькую и сконфуженно сказал:

— Сколько ты денег на меня потратила, даже неудобно.

— Ладно. На здоровье. Не так часто гуляем.

Мы подошли к перекрестку, и регулировщик сразу же зажег нам зеленый свет. Вместе с нами по полосатому переходу двинулась толпа, такая же озабоченная, как там, на тротуаре, как у булочной и у пивного ларька, как на перекрестке, везде, где мы бродили уже целых полтора часа.

Желтая машина ГАИ вдруг вынырнула из-за угла и заорала в мегафон:

— Очистить проезжую часть! Машины — к обочине! Все — к обочине!

Вдоль улицы мчался целый эскадрон мотоциклистов. Ревя, он пронесся мимо нас. Красные, желтые, зеленые шлемы, полосатые куртки, руки, впившиеся в руль, точно в поводья.

Прохожие замерли на тротуарах. Как по команде, они выстроились в шеренги и застыли, опустив по швам

руки с кошелками. Глаза заблестели, рты приоткрылись, щеки стали живыми и розовыми.

Мотоциклы умчались, рев затих. Вздохнув, разбрелась толпа. А мы с Прохором пошли себе дальше, через мост, мимо бульвара, по узенькому переулку. Кончалась его «увольнительная».

В зоопарк мы вошли через служебный вход, куда въезжают грузовики с продуктами или с новыми клетками.

— Это со мной, — сказал Прохор, и меня пропустили в зоопарк без билета.

Потом мы попрощались. Прохор хоботом открыл ворота в задней стене своего павильона и скрылся, а я обогнула здание и вместе с другими посетителями протиснулась к входу под вывеской «Слоновник».

Вдавившись внутрь, посетители сразу же бросались к барьеру и замирали, ухватившись за железные прутья ограждения.

— Слон! — кричали они. — Ты только посмотри, какая громадина.

— Настоящий слон! Сыночек, ты видишь?

— Индийский слон! Надо же — прямо как в Африке. Кличка. . . Прохор. Ишь, сам из Африки, а зовут по-русски. А уши-то! Прямо лопухи.

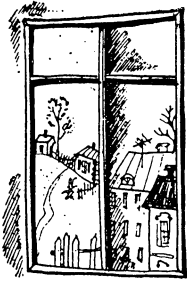
— Гражданочка, что вы лезете?! Ребенку загородили.

— Батюшки! Слон! Ну и красота!

— Сзади! Не напирайте — ребра поломаете!

Меня оттолкнули и прижали к стене. Пора было уходить. В последний раз я посмотрела на Прохора. Он поймал мой взгляд, пожал плечами и улыбнулся.





Это произошло двадцать четвертого апреля в восемь часов утра на станции метро «Невский проспект», и никто ничего не заметил. Странно: час пик, скопление людей, а ни один бровью не повел — как бежали по перрону, так и продолжали двигаться дальше, как толкались, вломаясь в вагон, так, даже и после всего, что случилось, не замерли, не опустили растопыренных локтей, не прекратили трамбовать друг друга или просверливаться, нет. А между тем дверь головного вагона электропоезда только что у всех на глазах разделила человека надвое, и вот, обратите внимание, одна половина, припав к стеклу, растерянно уплывает вместе с вагоном, другая же оторопело застыла, глядя ей вслед.

С утра все было вполне обычно, если иметь в виду обычность в простом, житейском смысле, потому что, конечно, в глубине своей это был отнюдь не обыкновенный рядовой день, — это был Первый день после того, что со мной случилось. И вопреки пословице, что «с бедой только ночь переспать», ощущение беды утром стало еще острее, острым, как опасная бритва.

Итак, это не был обычный день, однако небо и пальцем не пошевелило, чтобы рухнуть на землю, земля, в свою очередь, ни капельки не разверзлась, а неподвижная ночь, как это ни удивительно, все-таки кончилась.

«Ввиду отсутствия достаточной взаимности». Коротко и ясно. И вот я иду своим постоянным путем к метро вдоль набережной канала Грибоедова и пытаюсь разложить по местам перепутанные и опрокинутые утренние

мысли. Есть чем заняться: в голове неубрано, как в квартире, где только что кончился ремонт. Повсюду занозами торчат цифры чужого (да, тельер — *чужого!*) телефонного номера, и я, начав с коленопреклоненной двойки, аккуратно выдергиваю их одну за другой. Осталась пятерка, вцепившаяся как-то уж очень хватко, но ею можно пока пренебречь, сделать, допустим, вид, что она ко вчерашним событиям не относится. Ну что такое пятерка, в конце концов? Отличная, между прочим, отметка. Или вот: пять пальцев на руке. Пятидневка. Пятый троллейбус, идущий от площади Труда мимо Казанского собора. Не совсем ясно, при чем здесь площадь Труда, а вот Казанский собор — это рядом, это около того нелепого места, где вчера состоялся разговор. Хотя он как раз таки *не* состоялся. Но погодите, мы же условились не думать ни о каких разговорах, цифрах и вчерашнем дне! Это, кстати, был очень яркий день, настоящий весенний ленинградский день с внезапно высохшим асфальтом и оглушительным солнцем... Какой дурак придумал, что в такие дни особенно везет? . .

— Совершенно незачем, нельзя ему звонить, — сказала я зданию Русского музея и подергала пятерку, не имеющую никакого, ни малейшего отношения к вчерашним событиям.

Мимо меня по каналу степенно двигалась одинокая треугольная льдина, покрытая грязным снегом. Это был уже прошлогодний снег. А вчерашний день удалялся по направлению к вечности с постоянной скоростью один час в один час, впрочем, нет, со временем что-то произошло: за сутки, кажется, уплыла неделя.

Льдина уплыла. Впереди, над Невским, всю злобно рассиялось небо; судя по нему, нынче не рабочий четверг, а выходной, когда все устремляются на увлекательные загородные прогулки.

Наша комната в институте выходит окнами на юг и, конечно, сегодня нагреется так, что дышать станет не-

чем. Хорошо бы плюнуть на все, включая прошлогодний снег и пятерку, и поехать за город. Ходила бы одна по лесу. . . Походишь тут — новый, а потому не в меру старательный руководитель сектора Игорь кому-то пообещал: или мы сдадим отчет сегодня, или он наложит на себя руки. У него это называется «коллектив взял обязательство». Как он надоел, этот дурацкий отчет, все графики в котором нарисованы мной по принципу «три П»: пол, палец, потолок — это так Борис Иванович всегда говорит, наш начальник лаборатории.

Пока я думала про отчет, цифры чужого телефонного номера воровато выросли вокруг пятерки и в голове стало совсем мусорно и тесно. Самое лучшее все-таки было бы сесть в автобус и поехать на вокзал. . . А отчет? А Игорь со своим обязательством? Хоть разорвись. . . Не глядя по сторонам, я вошла в метро и спустилась на эскалаторе. Поезд терпеливо стоял у платформы с распахнутыми дверьми, я шагнула в вагон, и тут это случилось: я почувствовала удар, секунду мы стояли, разделенные дверью, ошеломленно уставясь друг на друга. И поезд тронулся.

Первое, что я почувствовала, придя в себя и убедившись, что никто в вагоне не обращает на меня ни малейшего внимания, точно и в самом деле ничего не произошло, так вот — первое, что я почувствовала, было облегчение. Это надо же: только что я все время зацеплялась за телефонные цифры, только что, на чем бы ни пыталась сосредоточиться, возвращалась и возвращалась ко вчерашнему дню, а теперь внезапно все сделалось просто и ясно, последняя глава отчета виделась, будто уже написанная, намеченные на сегодня дела расставились по часам, как фигуры на шахматной доске, а настроение сделалось. . . оно сделалось просто хорошим, — и в самом деле,

что, собственно говоря, случилось такое непредвиденное, а уж тем более — трагическое? Сегодняшние переживания, если посмотреть в корень (а только так и нужно), в основном состоят из уязвленного самолюбия — чувства очень неприятного, но, согласитесь, не смертельного; все, что ни делается, как говорят, к лучшему, правда?

На пересадке у Технологического института каждое утро я встречаю наших сотрудников и, завидя кого-нибудь издали, обычно стараюсь сесть в другой вагон — служебные дела и отношения пускай начнутся позже, в положенное время — в восемь тридцать, но сегодня в этом больше не было надобности, и я подошла к Антонине Дмитриевне (опять она в своей чернобурке, сколько можно — апрель ведь на дворе!) и сказала: Здравствуйте, Антонина Дмитриевна, как вам идет эта шляпа. Антонина Дмитриевна сделала губы домиком и сразу закокетничала: Да что вы, да этой шляпе сто лет в обед, да вы каждый день ее видите, только внимания не обращали, да, кстати, на вашем месте я бы обязательно купила себе что-нибудь на голову — платок вас портит, сходим вместе, посмотрим, сегодня же и сходим, вы такая еще молодая, а сейчас бывают очень симпатичные вещи.

Между прочим, верно, платок мне не идет, и вообще надо наконец заняться собой, сразу вся дурь из головы вылетит, потому что это — дурь, все это — выдуманное, искусственное, мною же и созданное просто от скуки.

*Утром народу в электричке мало. Едут какие-то мужики в ватниках, наверное с ночной смены; девушка с маленькой белой собачкой на коленях;*

*старуха с корзиной, в которой что-то шевелится и пищит.*

*— У вас цыплята? — спрашивает девушка. — Ой, какие хорошенькие!*

*— Собаку-то убери, — старуха сипит, как будто у нее в горле нет ни одной голосовой связки, — убери, не поела бы.*

*— Нет, что вы! Она у нас добрая.*

*— У меня и поросята есть, — свистит старуха, — они знаешь каки умные, поросята. Каждый свой сосок знает, чужого нипочем не возьмет. За прошлый год двое померло, так два соска у матери так и засохли — нипочем не брали.*

Потом начался рабочий день: из вороха бумаг — ну и хлев у меня в ящике письменного стола! — я вытащила листки с отчетом: «. . в соответствии с решением, принятым на последнем заседании научно-технического совета, необходимо ускорить решение проблемы по замене металлической арматуры изделиями из пластмасс», косые ленивые буквы, строчки сонно падают концами вниз, я принялась за последнюю главу, слова выскакивали откуда-то из памяти и застывали над листом в услужливых позах (вот что у меня изменилось, так это почерк: буквы четкие и прямые, цифры. . . да при чем же здесь цифры?), график весело бежит вверх, и все правильно, графики должны идти прямо и вверх, а в комнате — разговоры, надо вызвать мастера из КИПа, пусть подключит к потенциометру термопару. . . нет, лучше так: «острые углы и кромки должны быть закруглены радиусом не менее. . .», это очень правильно, обойдемся без острых углов.

---

*За окнами — небо. Справа и слева. А в городе неба мало, там оно вроде бы и не нужно никому. Идешь по улице, а над головой только узенькая полоска, даже и неважно, какая она — голубая, серая. Пойдет дождь, можно встать под навес или спрятаться под землю, в метро, там — ни дождя, ни зимы, ни лета. Ни неба над головой. А тут? Едем — и все небо, небо. Никуда не денешься, никуда не спрячешься — вон какое поле, до самого горизонта. А за горизонтом лес.*

*Цифры телефонного номера тоже похожи на лес. Сухие высокие сосны и пятерка, как куст. Ни спилить, ни вырвать — снова вырастут. А может, они похожи на забор, обмотанный колючей проволокой? Он со всех сторон, этот забор. Калитки нет. И ворот тоже. . .*

*По дороге я не пошла, сразу свернула в лес. Или это называется — парк? Вода зачавкала под ногами, и новые замшевые туфли из желтых сделались черными. Из-под безликих прошлогодних листьев кое-где уже пробивалась трава. Вот у пня — мохнатые желтые цветочки, похожие на маленькие одуванчики. Мать-и-мачеха?*

*То, что произошло вчера, смотрело на меня отовсюду, не удаляясь и не приближаясь, но всем здесь владея, у всего отбирая смысл и даже название.*

*Небо смотрело на меня. . .*

Отчет я дописала к обеду и понесла сдавать в машинописное бюро; я шла с папкой по коридору и все время здоровалась, дура я дура, сколько лет вот так здороваюсь и только сегодня, вот сейчас, появилось у меня это чувство: не то дома, не то братства; пускай одни из них не такие уж интеллектуалы, а у других довольно дурной харак-

тер и иногда с ними бывает трудно разговаривать — все равно это свои, и вот случится со мной завтра беда. . . а сейчас?! так вот, случится беда, заболею я, допустим, и попаду в больницу, кто будет носить мне передачи, разговаривать с врачами, не поверит, что «состояние средней тяжести», кто будет собирать по рублю, чтобы купить на рынке помидоры за дикую цену, и это, допустим, случится завтра? . . — они. Не те, мои слишком умные и тонкие друзья (его друзья), с которыми я пью водку и рассуждаю о судьбах, а они! Здравствуй, Игорь, слушай, ты будешь смеяться, но я дописала отчет, твое обязательство выполнено, да еще и досрочно. . .

*. . .отовсюду, оно было высоко над голыми ветками, и между тонкими стволами, и в лужах, и в пруду.*

*Только не нужно, нельзя ничего осмысливать, систематизировать, раскладывать на элементы. Вообще, не надо думать.*

*Ноги стали мокрыми по щиколотку. Я нашла сухую дорожку, прямую и безлюдную. Пройдя по этой дорожке метров сто, на садовой скамейке за кустами я вдруг увидела их. Их было трое. Они сидели лицом к дорожке и так молчали, что я прошла бы мимо, не заметив, если бы не поле. Они сидели и молчали, а вокруг скамейки было силовое поле из ненависти, и я застыла в этом поле, точно споткнувшись о его силовые линии.*

*Их было трое. Они сидели, отодвинувшись друг от друга, и напряженно глядели прямо перед собой. Как застывший кинокадр, как старая фотография. Наверное, от этого и лица их казались бледными, точно вылинявшими. Старуха была в чернобурке и нелепой широкополой шля-*

не, похожей на ту, что носит наша Антонина Дмитриевна. Пожалуй, и лицом она похожа на Антонину Дмитриевну — такое же упрямство во взгляде и около рта. А молодая женщина рядом похожа на них обеих — и на старуху, и на Антонину. Капризные губы на бледном лице истерички, а глаза упрямые и злые.

На краю скамейки — парень. Красавчик с бабьим лицом. Губы кружочком, глазки маленькие, а сколько злобы в них!

Я почувствовала, что у меня мерзнут плечи, и, перешагнув силовую линию, заспешила по дорожке скорее прочь от этой скамейки.

Почему они сидят здесь, среди леса, среди неба с такими тупыми, всененавидящими лицами? Что у них случилось? Может быть, тоже несчастье? Нет, так не смотрят, когда несчастье.

Наверное, они делят дом. Получили в наследство дачу, не могут разделить и теперь ненавидят друг друга. Мать ненавидит дочь и зятя за то, что — молодые, сами ничего не нажили, а на чужое — пожалуйста, тут как тут! Особенно зять. Да и она хороша, дочка. Знай под его дудку пляшет! Ей, старухе, уже ничего не нажить, куда там наживать на такую пенсию! Слава богу еще одеться есть во что!

А дочка ненавидит и мать и мужа сразу. Ему только деньги давай и давай, на полторы ставки вкалываешь — все мало. Другому мужику наплевать на мебель, на тряпки, а этому до всего дело. И транзистор японский ему! Надо, видите ли. А мамаша тоже хороша, в могилу, что ли, деньги с собой возьмет? Ей ведь дом этот зачем нужен? Сдавать. А денежки — на книжку. Сколько у нее там этих денег? Книжку прячет. А тут всю жизнь копейки считай. Отцовы алименты за восемна-



*дцать лет — тоже небось там, а у меня сапог лишних нету. Да еще этот, с транзистором.*

*«Сдохли бы обе! — думает зять с отвращением и колет маленькими своими глазками березу, стоящую напротив. — Влип, идиот! Надо было на Шурке жениться».*

«. . . Режимы нагрева деталей приведены в табл. 8. . .» Почти ни одной опечатки, хорошая машинистка, и как быстро сделала — целую главу за полтора часа. . . все верно: любить нужно конкретного человека, а не продукт собственного воображения, и вообще давайте-ка внимательно посмотрим на наших «счастливых» подруг, что хорошего в их жизни? Кухня? Очереди после работы? Сбившаяся набекрень безобразная шляпа? Обломанные ногти? Тяжеленные сумки с продуктами в обеих руках? А еще постоянные больничные по уходу за ребенком, и отсюда особенная «любовь» начальства за успехи в работе. Человек — каждый человек! — должен себя уважать и знать, что его уважают другие, а тут? все мысли, все силы отданы дому, а на работе пустое и тягостное отбывание часов, зато раз в году замечательный отпуск на даче в зверских условиях, где надо таскать на себе то воду из колодца, то продукты из города опять же пудовыми сумками, а в награду — любящий муж, который, конечно, приносит зарплату, называет тебя «моя половина», ездит один в санаторий в Сочи, «надо же подлечиться, о чем ты говоришь?!» и проводит там месяц на пляже за преферансом, зато остальные одиннадцать месяцев украшает собою кресло около телевизора. Ах да, это муж, будничная скука, быт, мы ведь говорим о Любви, и тут, конечно, другое дело: в гостях он называется «мой при-

атель», а в разговорах с подругой — «этот товарищ», «этот товарищ собирается на тебе жениться?» «а? что? не слышу!» снимем шапки — перед нами настоящее большое счастье, особенно когда отпуск в одиночку по туристской путевке и праздники в кругу интересных сослуживцев или родных и соседей, «а домой мне не звони, и думать не смей, ты что?!»

И, наконец, вариант номер три, мой то есть вариант: она свободна, он тоже, все замечательно, есть только одна маленькая неувязочка — с его стороны нет «достаточной взаимности», вы ему не подходите, гражданка, он у нас птица высокого полета, а таких, как вы, на дюжину двенадцать и все в шляпах. . .

*Что это я навывдумывала? Кругом опять только небо и деревья. Солнце такое горячее, можно пальто расстегнуть. Мало ли почему люди молча сидят на скамейке? Просто устали и отдыхают, и никакой там ненависти нет. Это я запуталась в своих цифрах, мыслях (и колючей проволоке).*

*Дорожка кончилась. . . Дальше — узенькая болотистая тропка, не пройти. Придется возвращаться.*

*Какая-то птица раскричалась в лесу. Плохо, что я не знаю, какие птицы как кричат. Интересно, как зовут ту птицу? Сорокопуд? Говорят, есть такая птица — сорокопуд, вернее — сорокопуд, даже точно — сорокопуд, но сорокопуд — лучше. Сорок пудов. . . Пуд, конечно, соли, а не чего-нибудь, надо съесть и не подавиться, чтобы узнать, раскусить и т. д. человека. . . Пусть лучше сорокопуд.*

*И ведь есть еще малиновки, сойки, коростель, дрозд, зяблик, а я знаю только соловья, ворон,*

*воробьев и ласточку. Да и то ласточку, наверное, по голосу не отличу. И ворон путаю с грачами.*

В половине четвертого я положила готовый отчет на стол Борису Ивановичу. — Я вас вызову, — сказал он, и я пошла примерять новую шляпу, которую почти не разглядела, когда выбирала в обеденный перерыв, все говорят — шляпа мне идет, особенно Антонина Дмитриевна, молодец она, характер, в лицо себе плевать никому не позволит, а вообще — день сегодня удачный, это потому, что я сделала дело, и хорошо сделала, без халтуры, все-таки, наверное, я тоже чего-нибудь стою, кое-что могу, кое-что умею и люди ко мне хорошо относятся, так за что же? . . . И шляпа идет, надо больше уважать себя и очевидно, совершенно очевидно: все это я выдумала, нет ничего, наплевать мне на это в конце-то концов! . . . Как хорошо, что я пошла сегодня на работу. . .

*Как хорошо, что я не пошла сегодня на работу! Не было бы у меня ни этих берез, ни запаха земли. Уже через месяц не останется в лесу такого запаха. Распустятся листья, вылезет трава. Наступит лето, а этого ничего уже не будет.*

*Деревья стоят тесным кольцом вокруг маленькой круглой поляны. Листьев еще нет, и я не знаю, что это за деревья. Опять не знаю. Не знаю деревьев, не знаю птиц. Не знаю, что я наделала и что теперь будет. Знаю только номер телефона — семь цифр.*

*Поляна залита солнцем. И на самой середине, около большого пня, похожего на черный зуб, — они, те трое, вся семья. Семья играет на поляне в чехарду.*

*— А ну, мамаша, поберегись! — кричит па-  
рень, разбегается и перемахивает через тещу,  
едва тронув руками ее плечи.*

— Я должен вас поздравить, — сказал мне Борис Иванович, — вы написали прекрасный отчет, все точно, технически грамотно, четко, без этих ваших умствований и длиннот, я очень рад, хотя вчера, когда вы тут развели демагогию в части ненужности. . . — Заскок, — улыбнулась я, — запуталась в личных делах, а сегодня прошло, день такой прекрасный! — Личным надо заниматься в личное от работы время, — сказал Борис Иванович назидательно. — А день и в самом деле хороший, и солнце светит, — это он говорит. Борис Иванович.

*Здесь, в лесу, тоже солнце. И что-то с шуриани-  
ем пробивается из-под земли через сухие листья.  
Сразу в нескольких местах. Какие-то стебли тя-  
нутся вверх, изгибаются, покачиваются. Их семь.  
Семь цифр чужого телефонного номера, первая  
цифра упала на колени, последняя присела и изо-  
гнулась, остальные растут.*

Пять часов, за окном появляются вороны, сперва всего несколько, лениво взмахивая крыльями, показываются из-за крыш, потом следом за ними целая толпа, так каждый день, можно подумать — вороны где-то работают, а в пять часов у них кончается смена. . . Довольно глупо вот так сидеть и глядеть на ворон. . .

«. . . Готовые изделия упаковываются в деревянную тару. . . » Забыла указать это в отчете, а Борис Иванович не заметил, в деревянную тару они упаковываются, вот какие дела, и каждый

ящик должен быть снабжен биркой с номером партии, смешно. . . зачем обыкновенный ящик надо называть — «деревянная тара»? . .

. . . Двери распахнулись, ударили колокола, и из церкви вышли заплаканные родственники, неся на плечах деревянную тару. . . Почему такая глупость приходит в голову?

*Цифры уже не качаются. Застыли как почетный караул. Они выше меня, почти до верхушек ивы и ясеня, на котором сорокопуд вьет гнездо. Гнездо — огромное и неопрятное, как старая меховая шапка.*

*Сейчас я узнаю, почему здесь столько неба, кто такие эти люди на поляне, зачем я живу, зачем — всё.*

Уже? Звонок звенит в коридоре, все надевают пальто, запихивают в сумки свои пудреницы, расчески, рассовывают по карманам книги — читать в автобусе, надо идти. . . или посидеть еще, посмотреть отчет? . . «номер партии на деревянной таре. . .» Шариковая ручка сама по себе выводит какие-то цифры, их семь, они — острые и сухие, как стебли прошлогодней травы, среди которых притаилась лягушка, лягушка — среди обломков колючей проволоки. . . пятерка. . . но я ведь тоже человек, я — инженер, меня ценят и уважают. . . Эти цифры — они точно гвозди. . . гвоздями забивают деревянную тару с готовым изделием. Лучше так: на плечах они несли деревянную тару с незабвенным готовым изделием. . . дура я, дура. . . Толстая ворона давно уже сидит на карнизе и подмигивает мне черным глазом, за окном — облако, большое и светлое, с брюха свисают перья.

*И вдруг вижу: черное безлистое дерево рядом со мной — осина. А рядом — ясень, потом ива, еще осина и две ольхи. Громко хлопая крыльями, взмывает высоко над поляной мудрая птица со-рокопуд, летит над коренастым голым деревом, для всех пока еще безымянным, но я-то теперь знаю: это клен, месяца не пройдет, и это поймут все, но сейчас — только я одна. . . Я поворачиваюсь и медленно иду в сторону станции. Над дорожкой — облако, большое и светлое, с брюха свисают перья.*

Над каналом, над куполами Спаса-на-крови — большое, светлое облако. Я иду по набережной от метро к дому. Привычная дорога, так я хожу много лет каждый вечер. Я медленно бреду по левой стороне, у воды, почти касаясь решетки, а вода в канале темная и тихая, льдина со вчерашним прошлогодним снегом уплыла навсегда, может быть она уже далеко в заливе.

Сейчас я пройду то место. . . «Ввиду отсутствия достаточной взаимности. . .» Вот и прошла. Ничего. Пройду и завтра. И через много лет, когда сделаюсь седой и сгорбленной, как вон та старуха, что роется сейчас в большой хозяйственной сумке в десяти шагах от меня.

Старуха вытащила из сумки красивый блестящий фотоаппарат и нацеливается объективом куда-то вверх. Высоко, рядом с куполами церкви, медленно летит большая темная птица. Кто это? Голубь? Не похоже. В редких взмахах широких крыльев — что-то негородское, очень спокойное, точно летит она не над суетливой асфальтированной улицей, а над тонкими ветками лесных деревьев с набухшими, готовыми вот-вот лопнуть почками.

Птица уже близко.

Старуха щелкает аппаратом. Еще. Еще.



Даже глаза открывать было тошно. Тусклый свет почему-то все время трусливо моргающей лампочки падал на пыль в углу, как раз напротив дивана, на котором он лежал вниз лицом; пыль эта сбилась комками, похожими на мертвых мышей, а сбоку на окне жухлая занавеска съежилась, брезгливо подобрала мятые края, точно противно ей было касаться грязного подоконника.

Лаптев застонал и уткнулся лицом в ковер. Запах от ковра был тоже пыльным. Все это и пружина, выпирающая прямо в живот, раздражало, а больше всего — нет, уже не раздражало, а злило ощущение собственной нелепости, никчемности, неумения ничего организовать в своей жизни. Ничего! Ладно бы еще просто не везет, так ведь эту его патологическую неудачливость чувствовали другие и, конечно, шарахались, как от больного холерой. Сегодняшний день — вовсе не исключение, и все-таки почему эта история с докладом должна была произойти именно с ним? А с кем? Если не с ним, то с кем? Не с Рыбаковым же!

Думать о докладе было невозможно: дергалось что-то внутри и даже снаружи, в шее, и благоразумные мысли торопливо, гуськом перебегали на другое. Лаптев лежал с закрытыми глазами на диване, а они, мысли, ползали, как тараканы. Дотошно пересчитали они оторванные пуговицы на рубашках, плохо отглаженных в прачечной, отметили беспорядок на полках, с отвращением дотронулись до недавно засунутого в угол комка мокрых носков, полюбовались на моль, которая иступленно жрала старый и уже не модный, но единственный выходной ко-

стюм. Каждодневная одежда в лице только что сташенного через голову и вывернутого наизнанку свитера висела на спинке стула, перевив в узел рукава, будто ломала в отчаянии руки.

Дождь за окном шумел и плескал и хлюпал со вчерашнего вечера, от которого Лаптева отделял длинный, отвратительный, как всегда неудачный день.

Утром на совещании у начальника лаборатории при всех, а это особенно «приятно», сказали, что ехать в Москву на конференцию Лаптеву не придется, потому что доклад его, надо сказать со всей прямоотой, оказался при ближайшем рассмотрении малоинтересным, не содержащим сколько-нибудь полезной информации и, по существу, представляет собой беспомощную компиляцию из всем известных надоевших книг и статей. К тому же, не обессудьте, плохо написан.

— Ученическая работа, — сказал начальник, — нельзя с таким... понимаете ли... сочинением выйти на трибуну всесоюзной конференции. Нельзя.

Воспоминание о лицах сотрудников, на которых сперва расцвело злорадство, а потом проступило удовлетворение: как же, все правильно, так и должно быть, это же Лаптев! — заставило его еще крепче зажмуриться и даже немного поскрипеть зубами. Но услужливые мысли, семеня тараканьими лапками, уже спешили прочь, уводили Лаптева из института, на дождь, на ветер, на автобусную остановку, где, раздраженно протоптавшись двадцать минут, он принял решение идти пешком.

Ветер дул какой-то просто невысказанный, мокрый и плотный; как резина. Шляпу приходилось все время придерживать рукой, мокрая пола старого плаща шлепала по коленям. Проехавший вплотную к тротуару хлебный фургон взметнул на Лаптева лужу, так что грязные потоки полились даже по лицу его. Он отер лоб, для чего пришлось отпустить шляпу, и ветер тут же, изловчившись, сорвал ее, подбросил, швырнул на тротуар и коле-



сом покати́л к глубокой рыжей луже. Через секунду шляпа уже мирно плыла по грязной воде, а растерянный Лаптев стоял, переминаясь, не знал, что делать, — ступить в лужу значило промочить ноги по щиколотки.

Две совсем еще молоденькие и, как назло, весьма привлекательные девицы, пробегая под одним зонтиком мимо Лаптева, посмотрели на него, потом друг на друга, расхохотались и застучали каблуками мимо.

Лаптев свирепо шагнул одной ногой в лужу — вода, конечно, сразу потекла в ботинок — и вытащил шляпу. Мокрая, вся в каком-то не то мазуте, не то солидоле, она напоминала теперь старый болотный подберезовик-шлюпик с обвисшими, поеденными улиткой краями. Испорчена была безнадежно, тут и думать нечего, и Лаптев кинул шляпу обратно в лужу.

Дождь стекал с волос за шиворот, по носу катились холодные капли, вид, если представить себя со стороны, — самый жалкий и достойный осмеяния, а до дому еще минут семь по этому ветру и дождю. Можно, конечно, пойти наискосок, через сад, там, кстати, и народу сейчас меньше, некому будет веселиться по поводу его несчастий.

Людей в саду, действительно, не было. Там разбойничал вконец распоясавшийся ветер — обламывая сучья, целые ветки срывал с деревьев и с силой швырял об землю. Продрогший кленовый лист прибился к плечу Лаптева и доверчиво затих там. Вдруг впереди, где-то наверху, Лаптев услышал отчетливый треск. Толстое, осанистое дерево на глазах его распадалось наискосок, крона, шелестя, медленно валилась на дорожку, а обломок ствола ощеривался острым, криво обломанным зубом. Обойдя по мокрой траве рухнувшее дерево, Лаптев бегом бросился к выходу из сада. За спиной шелестело, выло, трещало. Дождь усилился.

«Так и наводнение того гляди», — мелькнуло в голове. С запозданием: вода на набережной, куда он теперь вы-

шел, ясно давала понять, что не «того гляди», а уже, начинается, где-нибудь на Карповке или на Каменном острове небось и не пройти, да и здесь надо поторапливаться.

Вода в канале текла вспять. Тащились против течения подгоняемые ветром беспомощные стайки палых листьев, растерянные волны тщетно пытались бежать туда, куда им от веку положено, но сил не хватало — бил наотмашь, толкал их в грудь остервенелый бешеный ветер.

Какой ужасный, какой отвратительный день! Но он еще не кончился, далеко еще до конца, все впереди: добежав наконец до своего дома и бегом поднявшись на пятый этаж, потому что лифт на ремонте, обнаружит дрожащий от холода Лаптев в кармане плаща вместо ключей дыру, будет полтора часа, вылив из ботинок на каменный пол лестничной площадки воду и отжав края штанин, ждать, когда вернется наконец из гостей (даже ей всегда есть куда пойти!) Антонина Николаевна, старуха соседка, будет материть себя вслух за то, что знал ведь, подонок, про эту дыру, знал, да поленился зашить, думал, ничего, обойдется, дырка — маленькая, ключ — большой. Сиди теперь тут, наживай воспаление легких, нет у тебя в городе таких друзей, к которым ты мог бы явиться просто так, без звонка, мокрый, голодный, и знать, что тебе будут рады.

Полтора часа кончились, соседка пришла, и вот — наконец-то! — этот диван, и пружина в живот, и мышеобразные сгустки пыли, и ржавое пятно на потолке прямо над головой, про которое он помнит и теперь, лежа лицом вниз. Помнит и знает: не сегодня, так завтра отвалится здоровенный кусок штукатурки и разнесет ему череп. Так тебе и надо, Лаптев, потому что и тут, как с дырой в кармане. Надо было давно сделать ремонт, да руки не дошли. «Надо было...»

И почему же, почему именно у него всегда «надо бы-

ло»? А если брался, то кончалось это как-нибудь поидиотски: то решит отремонтировать любимые удобные заграничные туфли, а приемщица в мастерской специально для него приготовленным злорадным тоном сообщает: «Такую обувь в ремонт не берем, вы что? Это, извините, только выкрасить и выбросить».

А то фирма «Невские зори»... Ладно, к чему эти перечисления? Неудачник. Да! Неудачник! Патентованный, хрестоматийный, вульгарный. Куда ни кинь — везде клин. Можно подумать, это первый сегодня такой день. Ха-ха-ха. Как поживаешь, Ефим Лаптев? Средне. Что? Да, средне: сегодня хуже, чем вчера, но лучше, чем завтра. Ну почему, объясните кто-нибудь, крысится на него Антонина Николаевна? Когда-нибудь не так поздоровался? Не тем тоном к телефону позвал? Не помнит он, хоть расстреляй. Он не помнит, она — помнит, ходит, поджав губы, и нарочно громко поет в коридоре. А еще литературу в школе преподавала, интеллигентный человек. Тьфу!

.. И не согреться ведь, хоть и надел сухие носки.

Лампочка под потолком жалобно мигнула и погасла. И тут же в коридоре зазвонил телефон. Он вопил долго и крикливо, Антонина Николаевна, само собой разумеется, не шла, и, чертыхнувшись, Лаптев в одних носках вышел из комнаты. Конечно, он ударился об дверь, естественно, толкнул столик в прихожей, и со столика, ясное дело, упала пепельница. Пепельница разбилась, а телефон между тем затих. Но стоило Лаптеву двинуться вдоль стены в обратный путь, как телефон залаял снова.

— Это доктор? — крикнул тоненький женский голос. — Алло! Мне доктора!

— Вы. Не туда. Попали! — отчеканил Лаптев, но дама на том конце провода не обескуражилась.

— Это два четырнадцать семьдесят пять восемнадцать? — допрашивала она.

— Это два семнадцать семьдесят пять девятнадцать! — рывкнул Лаптев, бросая трубку.

Однако дойти до своей двери он не успел. Телефон опять так разорался, как будто «междугородная» вызвала «скорую помощь».

— Доктор, миленький! — закричали в трубке, не успел Лаптев даже сказать «да». — Доктор, дорогой мой человек, что делается! — Женщина не слушала Лаптева, рта ему раскрыть не давала, задыхалась, за что-то благодарила, все время приговаривая: — Вы волшебник, доктор, вы кудесник, вы просто маг и колдун!

— Да не доктор я! Не доктор! — прорвался наконец Лаптев. — Это — два семнадцать семь пять девятнадцать! Набирайте как следует. Вы меня сводите с ума! — он тоже почти кричал, сам отмечая в своем голосе истерические нотки.

Дама молча брякнула трубкой. Лаптев вернулся на диван, сел, сжал пальцами виски и медленно начал думать, что это ужас, тридцать лет, а сердце от пустяков трепыхается, как у старухи, что надо сейчас постелить и лечь, нет! сперва выпить бы валерьянки, а еще лучше — водки... Но ни валерьянки, ни тем более водки у него не было.

И тут телефон взорвался опять. Он не такой дурак, Лаптев, хватит! Он не даст, он больше не позволит над собой издеваться, пускай разорется, гад, хоть до утра!

Скрипнула дверь ванной, послышались шаги Антонины Николаевны, ее голос, сперва приветливый: «Да, слушаю» — и, после короткой паузы, — холодно-надменный: «Одну минуту». Снова зашаркали шаги, теперь — к двери Лаптева, короткий сухой стук и отрывистое: «Васс».

«Вдруг — Светлана?» — как всегда, каждый раз, когда его звали к телефону эти два последних, два самых несчастных года, подумал Лаптев, бросаясь к дверям.

Это был низкий и густой мужской голос, очень уверенный, медленный и властный.

— Вас тут... давеча изводила одна моя темпераментная пациентка, — сказал голос, — так что пардон. Впрочем, вина не ее и не моя, просто каверзы автоматической связи. Но дело, конечно, не в этом. Вы меня слышите?

— Слышу... доктор, — откликнулся ошеломленный Лаптев, — я только не понимаю...

— Вам понимать абсолютно не требуется, — заверили Лаптева, — понимать это, так сказать, *tu duty*. Ну-с, так как делишки?

«Какого дьявола он пристал?» — подумал Лаптев. А в трубку сказал:

— Делишки? Хреново. Дела как сажа бела. — И захихикал, сам себе удивляясь.

— Хуже, чем вчера, но лучше, чем завтра. Не правда ли?

Лаптев молчал.

— Пойдем дальше, — гудел голос невидимого доктора, — знаете, конечно, кто вы? Неудачник. На лице у вас прыщи, которые странно выглядят в вашем далеко не юношеском возрасте. Не перебивайте! Походка — отвратительная, способная вызывать сострадание. Девушки на улице проходят мимо вас, как мимо витрины магазина похоронных принадлежностей. Ну-с... Денег всегда нет. Гардероб — мерзкий. На работе — полный завал. Короче, идеальное несоответствие уровня возможностей уровню притязаний. Вы ведь гений? В душе?

Лаптев молчал.

— Ну как же! Написали блестящий отчет или — как там? — доклад про какой-то синтез чего-то, а вам говорят, что все это чушь, что бездарный Рыбаков, который, кстати, и без того ведет себя с вами пренебрежительно и нагло, что этот трепач достойнее вас может представлять институт...

— Кто вы? — тихо спросил Лаптев.

— Ну-ну!.. И ведь что обидно: вот Мустыгина — тоже не послали, но у него отговорка, пусть только для себя

самого. У него — клаустрофобия, боязнь закрытых пространств. А вас — за что? Выходит, вы — бездарность, а Рыбаков — гений? Да еще и фамилия — Лаптев. Великолепно: Лаптев Ефим Федосеевич. Дед Федосеич, а?

— Что вы ко мне пристали? — спросил Лаптев.

— Ага! Забрало! Давай-давай! — торжествовал доктор. — Ну до чего вы мне подходите!.. Ладно. Бросьте комплексовать. Я просто сказал вам, кто вы есть. Но это все пустяки, поправимо.

— Меня обхамили в обувном ателье, — неожиданно для себя грустно пожаловался Лаптев, — не приняли туфли.

— Примут, — пообещал доктор. — Будут валяться в ногах. Ну, вот что, — голос стал деловым, — берите ручку, бумагу, записывайте адрес, и через полчаса я вас жду. Транспорт еще ходит.

И тут в прихожей зажегся свет. Вспыхнула лампочка над зеркалом и вторая, в глубине коридора. На столике, рядом с телефоном, Лаптев обнаружил шариковую ручку и, воровато косясь на дверь Антонины Николаевны, записал адрес на обоях.

2

Улица (вернее, это был переулок) оказалась узкой и темной. Видно, взбесившийся ветер везде, где достал, оборвал и перепутал провода. По черному небу суетливо пробежали лохматые и белые, похожие на клубы дыма, низкие облака. Это было необычно: облака на ночном небе и — беспокойные, сухие, яркие звезды, смотрящие издалека, сквозь морозящий дождь. Наверное, облака мчались так близко к земле, что отсвет городских огней освещал их.

Дом, указанный загадочным доктором, оказался в самом конце переулочка, в палисаднике, к неосвещенному входу вела асфальтовая дорожка, и, уже ступив на нее,

Лаптев подумал, что вот опять, как идиот, вляпывается в какую-то авантюру, кто-то решил его разыграть, а он, развесив уши, тащится теперь под дождем к неизвестному подъезду, чтобы застать в лучшем случае пьяную компанию старых приятелей.

«Только со мной такое, больше — ни с кем!» — зло подумал он, сунул озябшую руку в карман и нащупал дыру. Прекрасно. Ключей нет, на дворе — ночь, соседка давно легла... А-а! чего уж теперь. Так тебе и надо, debil несчастный, раззява.

И он вошел в подъезд.

Лестница представляла собой один, слава богу, освещенный, длинный пролет и упиралась в стену. Не стену — витраж с маленькой и узкой дверью справа. Разноцветные птицы были грубо изображены на стекле вперемешку с красными, синими, оранжевыми цветами, разлапистыми листьями, желтыми треугольниками, восьмиконечными звездами и полумесяцами. Лаптев не успел толком разглядеть этот витраж — дверь отворилась, и на площадку ступил высокий грузный человек. Очень черными были его выпуклые глаза, брови и курчавые волосы. А кожа — смуглой, чуть желтоватой.

Рукава фланелевой ковбойки закатаны, джинсы — американские, давняя и безнадежная мечта Лаптева — и ничего таинственного или, напротив, каверзного. Все нормально.

— Быстро вы, — поощрил доктор, улыбаясь во все свои зубы. — Меня зовут Эмиль. А вы — Фима Лаптев.

— Очень приятно, — пробормотал Лаптев. Он ненавидел, когда его звали Фимой. С именем у него дела обстояли не лучше, чем с прыщами на лице. Но лучше уж все-таки Ефим.

— Проходите, — приглашал Эмиль, отступая в глубь передней. — Давайте плащ. Так. Теперь сюда.

Комната, куда они вошли, оказалась не похожей на

приемную практикующего врача. Тахта, два кожаных кресла, небольшой, весь заваленный какими-то безделушками письменный стол.

— Сейчас заварю чай, — деловито сказал Эмиль и исчез, оставив Лаптева разглядывать мраморного белого медведя, бронзовую лошадь с отломанной передней ногой, фарфорового снегиря, царский пятак, пучок сухой травы и другие предметы, непонятно по какому принципу собранные и сваленные на столе.

На стенах, впрочем, тоже висели странные вещи: несколько довольно ржавых подков, битая глиняная тарелка, часы без стрелок, внутри которых, однако же, что-то все время тикало, лисья маска из папье-маше и другой хлам.

Эмиль вернулся с чаем и конфетами, расставил чашки, вазочку и чайник на тахте и придвинул к ней оба кресла.

— Садитесь, — сказал он Лаптеву, — там, — он махнул рукой на письменный стол, — такой хлев, знаете.

...Нет, это не было диалогом, Лаптев говорил один. Едва глотнув горячего чая, он сделался болтлив, слова просто переполняли его, и, отставив чашку, он без передыху выложил всю свою жизнь от детства в сонном провинциальном городе Острове до сегодняшнего невезучего, но такого типичного для него, горемыки, дня. Он не скрыл ничего, подробно рассказал даже то, чего никому никогда не рассказывал, — про свою женитьбу на Светлане.

— Я ее любил, так сказать, — признался он с неловкой кривой улыбкой и передернул плечами.

— Сколько это продолжалось? — деловито спросил Эмиль, точно речь шла о болях под ложечкой или повышенной температуре.

— С первого курса.

— Нет. Я о вашем браке.

— Два дня.



— Не слабо. Ergo, на третий она и покинула вас. Скрылась без объяснения причин в неизвестном направлении, оставив вам, однако, свою комнату?

Лаптев молча кивнул. Подумал и еще кивнул.

— По-ня-а-тно... — прогудел доктор, не сводя с Лаптева своих рачьих глаз, и в этом «понятно» Лаптев с обидой услышал удовлетворение: «что ж, мол, вполне естественно, так и должно быть, красивые женщины всегда уходят от таких вот растяп, уродов и неумек». И ему стало стыдно и противно — разболтался, раскис, раскрыл душу — и кому?

Он встал с кресла.

— Нет, погодите. Как говорится, еще не вечер, — ухмыльнулся Эмиль, — я ведь вас не для того позвал, чтобы выматывать вам душу из любопытства. Все это я уже знал, хотелось послушать вашу интерпретацию. И довольно. Пейте чай, он, конечно, давно остыл, но аромат сохранился. А я пока подумаю, что с вами делать.

Лаптев послушно сел и взял чашку. А доктор Эмиль принялся расхаживать по комнате. То он перебирал хлам на своем письменном столе, то подходил к стене, снимал с нее какой-нибудь предмет, вертел в руках, качал головой и вешал обратно.

— Можно бы, конечно, вот эту... — неуверенно бормотал он, разглядывая бронзовую безногую лошадь, — да кто вас знает...

Лаптев глотал холодный чай и думал свое. Додумав до конца, он поднял голову.

— Вы — психотерапевт, — заявил он, глядя прямо в черные выпуклые глаза, — и телепат. И, по-видимому, гипнотизер. Угадал?

Эмиль улыбнулся.

— Mon enfant, — сказал он, — дитя мое! Кто вас научил думать, что какая-то терапия, психо там или не психо, — что вообще какая-то наука может сделать чело-

века счастливым? Вы ведь не больны, вон какие бицепсы. Да и, пардон, состояние вашей кожи тоже признак скорее избытка чего-то, нежели недостатка. Вы здоровы, молоды, имеете высшее образование, должность старшего инженера, прописку в Ленинграде и нестарых еще родителей в милом, патриархальном Острове, рукой подать до Пушкинских Гор. У вас есть комната, телевизор, стереофонический проигрыватель и абонемент в Большой зал филармонии. И тем не менее вы... такой...

Лаптеву снова начало казаться, что доктор над ним издевается, но он решил дослушать до конца и молчал, внимательно глядя в пустую чашку.

— ...вы — такой... — грустно повторил Эмиль. — И не вы один, к сожалению. Десятки, если угодно — толпы одиноких, неустроенных, невезучих наполняют наши, так сказать, города и веси. Чего же им не хватает? Сил? Или, может быть, денег? Нет. Есть такое коротенькое, незвучное слово «удача». Слыхали? Вы ведь химик, верно? Синтезы, анализы, катализы... Так вот, эта самая удача, она — как катализатор. Много ее не надо, самую малость, несколько молекул — и реакция пойдет. И получится все, как задумано. Все сбудется. И радости экспериментатора нет конца. Ибо! ибо наша жизнь часто всего-навсего эксперимент, поставленный на самом себе. Или на других... иногда... Итак, удача. Немного удачи — и успех следует за успехом, понимаете, химик? Просекаете? И наоборот: представьте — прекрасно отработанная, тысячу раз проведенная другими реакция с заранее известным тривиальным результатом, схема собрана — колбы, переходники, холодильники, дефлегматоры. Бюретки, наконец. И — фиаско. Пустой номер. Отбивная шляпа. Почему? Не мне вам объяснять: нерадивая лаборантка или сам охломон экспериментатор плохо высушили колбу, а в присутствии даже капли воды реакция не идет! Даже капли... Доходчиво я объясняю? Молодец я, а?.. Капля удачи... Капля удачи. Катализатор... И ведь у каждого он — свой.

И искомое, желанное вещество, которое требуется синтезировать, — тоже свое. А ргорос, помните ту даму, которая терзала вас сегодня телефонными звонками? Она у нас, бедняга, мучилась от несчастной любви. Несколько лет. Все как положено: бессонные ночи, мольбы, слезы, бесконечные звонки «ему», даже письма какие-то дурацкие. А в ответ только — мордой об стол. И в результате что? Ранний невроз, первый седой волос, морщины и мысли о смерти.

— И вы — тут как тут, — усмехнулся Лаптев, — дали приворотного зелья, любимый выпил стопку, закусил и упал ей в ноги.

— А вот и нет! — в восторге закричал Эмиль. — Ничего подобного! Я дал ей на счастье — вон, одну из них, — он показал на подковы, — и теперь все в порядке.

— Он прозрел? — ехидно настаивал Лаптев.

— Какой вы, право, традиционалист! В этом конкретном случае, печальном и исключительном, нужен был другой исход процесса. Любовь прекрасное дело, не спорю, но не в ста же случаях из ста. Прозрела... она. О-на! Поняла, что он — тоскливая посредственность, самодовольное ничтожество. Бездарность. А что? Умение оценить чужую любовь — это тоже своего рода талант. Люди — так называемое большинство — утилитарные существа, им, как правило, нравится то, что нужно и полезно. Любовь, на которую не отвечают, не нужна и бесполезна, а следовательно, и цены не имеет, барахло. Короче, эта женщина все это увидела и излечилась. Но бывают, конечно, и противоположные случаи... Впрочем, о любви — как-нибудь в другой раз. А вам, юноша, я помогу, не сомневайтесь.

Лаптев подумал, что не такой уж он и юноша в свои тридцать лет, в особенности рядом с этим так называемым доктором, который сам вряд ли старше. Но промолчал. Он только вдруг забеспокоился: за любой частный визит к врачу полагается платить. И, в конце концов, не-

важно, настоящий это врач, модный прохиндей или знахарь. Как платить? Когда? Сколько? Да и денег у него с собой нет.

— Не ерзайте. Ваши сиротские инженерские гроши меня не интересуют. Сто тридцать пять без прогрессивки? — тотчас же отозвался на его мысли Эмиль. (Чертов колдун и тут ухитрился подслушать.) — Но расплачиваться, конечно, придется, а как же — товар — деньги — товар, — продолжал он ухмыляясь, — у меня есть хобби, я, знаете ли, коллекционер. Все теперь что-нибудь коллекционируют, вы — неудачи... шучу! Шучу! А я... благодарности.

— То есть?

— Что — «то есть»? Я ясно сказал: собираю, лелею, сортирую и изучаю. Редчайшая вещь в наше время, должен вам сказать. Благодарных людей надо записывать в Красную книгу. Как вымирающих животных, вроде сумчатого волка. Слыхали про такого?

— Не думаю, чтобы все те люди, которым вы помогли, если, конечно, в самом деле помогли, чтобы они не хотели вас отблагодарить, — рассудительно сказал Лаптев.

— Отблагодарить? Именно. Отблагодарить — это да! Еще как! Коробки дорогих конфет с вложенными внутрь десятками, торты от Норда, гладиолусы — два рубля штука — в хрустальных горшках. Подписка на Пушкина. И просто и откровенно — конверты с ассигнациями. Этого пруд пруди, как говорится — навалом. *Quantum satis*. Но я ведь о другом. Это, ну, то, что называется «отблагодарить», ничего общего не имеет с настоящей благодарностью. Это ее антипод.

— Не понял.

— Сейчас поймете. Это — желание поскорей расплатиться, откупиться, то есть избавиться от тягостного чувства, что ты кому-то обязан. То есть — от нее, от благодарности. *Comprenez?*

— Что?

— Do you understand me?

— А вы, оказывается, не только врач и химик.

— А как же! И то и се! И — философ. И — коллекционер. О, я гармоническая личность, вы еще увидите. Я колдун, а колдуны все — гармонические.

«А может, он — псих?» — вдруг подумал Лаптев.

— Почему это — псих? — сразу обиделся врач. — Почему, как только что не укладывается в рамки, так сразу же и оскорблять? Колдун у вас псих, летающие блюдца — мираж, телекинез и телепатия — проделки ловких прохвостов. Скучно и глупо. Ладно, прощаю. Слушайте дальше и постарайтесь не перебивать. Итак, «отдаривание» — первый и самый легкий способ избавиться от чувства благодарности. Отдарил — и забыл. В душе — пусто и тихо, ничто не скребет, не мерещится стук кредитора и грозное: «Час пробил, пора платить по счетам» — ан все оплачено. Деньгами. И главное, по той цене, которую сам же и назначил, — коробка, как я уже говорил, хороших конфет или приглашение на дефицитное «Лебединое озеро».

— Это интересно, — сказал Лаптев, — я никогда не думал...

— Есть много, друг Горацио, такого. Но и это еще не все...

— Мне только одно не совсем ясно, — сказал Лаптев, — вот вы осчастливили ту женщину, лишив ее любви к ничтожеству. Теперь хотите помочь мне, не знаю, что у вас получится, но хотите, это очевидно. Так вот, если вы такой благодетель, так зачем вам эта несчастная благодарность? Вы же должны испытывать, как говорится, кайф от самой деятельности.

— С чего это вы взяли, будто я — благодетель? Я этого, помнится, не говорил. Я — исследователь, провожу опыты. Вы ведь — тоже экспериментатор, так что должны понять мой чистый интерес.

— Допустим. Но вот вы сказали, что «отдаривание» — не единственная форма неблагодарности. А другие?

— Другие?.. Пожалуй, не другие, а — другая. Потому что мелочи не в счет. Благодарность, как вы теперь знаете, моя слабость, я о ней могу говорить сутками. А вы устали, да и я тоже... Так что не стоит, на сегодня хватит, я просветил вас больше, чем следовало, а много будете знать, скоро состаритесь.

Сколько раз потом, через короткое время и через долгое, через многие годы своей жизни, будет Лаптев вспоминать этот разговор. Но сейчас он и верно был вне игры. Ночь шла к концу, накануне он намучился и устал, выпитый чай не помог, хотелось спать. И он больше ни о чем не спросил доктора. А тот замолчал.

Стоя около стола, он смотрел куда-то в стену, лицо его было усталым и бледным, глаза потускнели и запали, морщины обозначились около губ. Лаптев вдруг заметил несколько седых волос в черных кудрях и подумал, что насчет возраста Эмиля он, возможно, сильно ошибся, испугался тут же, что этот странный человек поймает его на мыслях, но доктор даже не повернулся.

— Что же вам дать? Что дать-то? — бормотал он. — А, была не была! Вы меня заинтересовали, пусть все будет по высшему разряду. Дина! — крикнул он. — Дина! Ко мне!

Что-то заскреблось, дверь приоткрылась, и в комнату вошла собака, желтовато-рыжая, низкорослая, на широко расставленных коротких лапах, подпирающих широкое же туловище с плоской спиной. Темные, выпуклые и блестящие грустные глаза умным и каким-то проникающим взглядом напоминали глаза хозяина.

«Ну и урод», — подумал Лаптев.

На улице Лаптев застал раннее утро, робкое, с еще не проступившими красками и не набравшими силу звуками.

Вчерашнее ненастье оставило следы: на конце скрученного спиралью оборванного провода, свисающего с решетки сквера, уныло болтался фонарь с разбитой лампочкой, желтые листья, стаями носившиеся вчера по тротуарам, лежали теперь неподвижно на мокром асфальте, как рыбы, выкинутые на берег приливом. Однако бесцветное пока еще небо было чистым и обещало хороший день.

Пять часов, о трамваях и думать нечего. Лаптев шагнул по мостовой, сунув руки в карманы плаща, сбоку, чуть отстав и часто переставляя короткие лапы, деловито бежало похужее на скамейку для ног существо, его, Лаптева, собственная собака, бежало без поводка и так уверенно, точно хорошо знает дорогу. Вид у Динки был озабоченный, как будто на работу спешит.

Светало прямо на глазах, очертания домов делались резкими и четкими, постепенно четкими становились и мысли Лаптева, ясно проступало главное: он опять оказался в глупом, потому что ненормальном, положении. Все это с начала до конца мистификация, и, если как следует подумать, можно докопаться до ее причин. И вдобавок ему навязали этого пса. Зачем ему собака? Впервые, вполне возможно и даже наверняка Антонина Николаевна устроит скандал... Антонина Николаевна... Лаптев остановился. Сейчас четверть шестого, ключ, как известно, того... Соседка будет спать минимум до девяти, а это значит — сверкающая перспектива провести еще часа четыре на лестнице. Лаптев взглянул на собаку. Она сидела рядом с ним, не отводя от него внимательного сочувственного взгляда.

«А еще говорят, что звери боятся смотреть людям

в глаза, — подумал Лаптев, — или это только дикие?»

Он двинулся дальше, чего стоять-то? Шел теперь нарочно медленно, рассматривая пустую заспанную улицу, остановился, чтобы прочесть объявление, написанное от руки и прилепленное к водосточной трубе: «Срочно меняю однокомнатную квартиру со всеми удобствами на две любые комнаты в разных местах». Ну да. Как он сказал, Эмиль? «Ходят десятками, толпами по городам и весям...» Лаптеву стало смешно: он-то теперь редкий удачник, счастливец, можно сказать. У него есть пес! У других, конечно, доги, пудели, сенбернары с медалями, а у него зато вон, полюбуйте. И дал ведь еще этому Эмилю честное слово, что никогда никому собаку не отдаст и не продаст. А с ним только свяжись, с колдуном, — отомстит. Да и кто ее возьмет, а тем более купит, вот вопрос.

«Кулинарное училище готовит: шоколадчиков, карамельщиков, мармеладчиков, бисквитчиков». Объявление было наклеено на сером дощатом заборе, отгородившем строительную площадку.

Лаптев почувствовал, что жутко голоден, прямо зверски, и сказал собаке:

— Был бы я бисквитчиком, мы бы с тобой знаешь как жили?

Собака вильнула хвостом, согласилась.

Пока они шли до дому, утро вошло в полную силу, небо пропиталось синевой, вставало солнце, поползли по улицам умытые пустые трамваи, появились прохожие.

«А как, хотел бы я знать, с удачей у этого?» — подумал Лаптев, всматриваясь в приближающуюся щуплую фигуру человека в синем ватнике. Лицо человека было очень маленьким, бледным и плохо выбритым, глаз не видно из-под опухших век. Что они напоминают, эти толстые веки? Где-то Лаптев читал про уши, похожие на



пельмени, здесь на пельмени были похожи глаза. Раскисшие губы безвольно висели.

Человек шел прямо на Лаптева, и, когда расстояние между ними достигло шагов пяти, Лаптев шагнул в сторону. Человек шагнул тоже. Лаптев остановился. И вислогуемый встал.

— Пьяный, что ли? — пробормотал Лаптев.

Человек стоял совершенно неподвижно и смотрел на собаку даже не мигая. Нижняя губа его совсем отвисла, рот приоткрылся.

«Чего он так уставился? Может, она вдобавок ко всему еще и краденая?» — подумал Лаптев. И строго спросил:

— Вам что нужно, гражданин?

— Слушай, парень, — очень тихо, почти шепотом, попросил человек, не отводя своих полузакрытых глаз от Дины, сидевшей у ног Лаптева, — продай кабысдоха, тысячу рублей тебе дам. Прямо сейчас. Продай, а? — Маленькими грязными пальцами он, торопясь, расстегнул ватник, полез за пазуху, извлек оттуда завернутый в газету пакет и шагнул к Лаптеву.

— Считай, — приговаривал он, разворачивая пакет, — ты считай, считай, все точно.

Лаптев увидел пятидесятирублевые бумажки, толстую стопку. И отдернулся.

— Отстаньте вы! С ума, что ли... — и быстро пошел прочь.

Собака затрусила следом. А сзади доносилось:

— Две тысячи! Вернись! Три! Эй!..

«Это кооперативная квартира», — отметил Лаптев про себя, рассмеялся и прибавил шаг.

4

Нет. Никаких сказочных дел не произошло с Лаптевым ни в ближайшие сутки, ни после. Он не нашел тайника с золотом и драгоценностями за обоями своей ком-

наты, Барбара Ёрыльска не прилетела, чтобы объяснить ему в любви с первого взгляда, не сделал он также гениального открытия, вследствие чего элемент «лаптей» не занял своего места в таблице Менделеева. И все-таки что-то изменилось, как будто черноволосый мистификатор и впрямь обладал тем, что называется «хороший глаз» или «легкая рука».

Сначала была встреча — в половине седьмого утра! — с Антониной Николаевной, спускавшейся по лестнице с мусорным ведром в то время, когда Лаптев, возвращаясь от Эмиля, рассчитывал торчать у запертой двери по крайней мере два часа.

Засыпая на ходу, он понуро тащился по ступенькам и вдруг услышал над своей головой:

— Кто это? Боже мой! Ефим Федосеевич, кто это?

Лаптев поднял глаза, увидел Антонину Николаевну и понял: сейчас ему скажут, что тот, кто и так никогда не убирает квартиру, не должен приводить в нее собак. Однако на сухом лице Антонины Николаевны засветилась совсем девчоночья улыбка; бросив ведро, она бежала вниз, к Лаптеву, легко присела на корточки и принялась гладить Динку по голове, возбужденно повторяя:

— Кто же это такой? Кто же это у нас такой?

Потом она выпрямилась, неожиданно протянула Лаптеву узкую руку, которую он ошеломленно пожал, и торжественно, как будто открывает первый урок, произнесла:

— Сегодня я беру назад все дурные слова, какие когда-либо говорила по вашему адресу. Более того, я прошу у вас прощения. Я в вас ошиблась. Человек, подобравший и пригревший бездомное существо, — тут она наклонилась и опять погладила указанное существо, которое завиляло хвостом, — это настоящий человек. Если бы вы, Фима, привели из собаководства какого-нибудь медалиста с родословной, я, конечно, тоже бы вас одоб-

рила, так как люблю животных, но этот поступок... Породистых собак очень часто держат из тщеславия, а таких — только из любви. Только! Можете рассчитывать на мою помощь и в добрый, и в черный час.

Покивав самой себе, Антонина Николаевна горделиво распрямилась, поднялась вместе с Лаптевым на площадку, отперла ему дверь и только после этого вспомнила о своем ведре.

С этого дня к телефону Лаптева приглашали таким голосом, будто это событие — исключительно большая радость для всего человечества. Более того, было решено, что Тоня, девушка из «Невских зорь», которая всегда приходила к Антонине Николаевне делать уборку, вымоет и приведет в порядок комнату Лаптева: «Что вы? Что вы? Конечно же, одинокому мужчине, занятому научной работой, трудно, невозможно следить за хозяйством, а жизнь в неуюте — какая же это жизнь?» А совместные чаепития с вареньем и пряничками, только что испеченными по новому рецепту, который привезла из заграничной поездки знакомая учительница французского языка! Не говоря уже о тихих вечерних беседах, расспросах, раньше Лаптеву как-то никогда не приходилось рассказывать о себе — не было слушателя, которому было бы интересно. А тут представьте: холодный ноябрьский вечер за окном незаметно переходит в ночь. Антонина Николаевна, блестя спицами, вяжет, слушая эпопею Лаптева о детстве, о школе, где его называли, конечно же, Лаптем, или о том, как Рыбаков в прошлом году посчитал ниже своего достоинства прийти к нему, Ефиму, на день рождения.

Антонина Николаевна слушает, кивает, иногда вставляет какое-нибудь замечание: «Люди, в сущности, очень разные, Фима, очень». Или: «В нашей юности все было не так — дружили семьями, собирались, музицировали. Играли в фанты, во флирт, да, да! Это была такая игра, очень милая и целомудренная...»

А иногда они просто молчали, каждый думал о чем-нибудь, и Лаптеву было уютно и тихо на душе, исчезло ощущение сиротства и неприкаянности, а Динка, дремавшая у ног, положив свою морду на туфли Лаптева, усиливала это ощущение прочности, надежности и покоя.

Антонина Николаевна как-то сказала Лаптеву, что в детстве у нее была такая же — ну как две капли! — собака, первая в жизни ее собственная собака, исчезнувшая при загадочных обстоятельствах из запертого дома. Кухарка — тогда, знаете, еще были кухарки, — рыдая, клялась, что дело не обошлось без нечистой силы.

— Даже ушла от нас. Взяла расчет, — закончила Антонина Николаевна.

— А куда же все-таки девался пес? — спросил Лаптев.

Антонина Николаевна была почти уверена, что кухарка сослепу выпустила собаку или даже продала живодерам — любила, знаете, выпить. А уволилась, испугавшись разоблачения. А может, и совесть мучила.

— Мой отец расклеил по всему городу объявления о пропаже, обещал большое вознаграждение, я ведь серьезно заболела тогда. Но никто не пришел. Это бог меня наказал, — задумчиво сказала Антонина Николаевна, — за Лизу. Была у меня такая подруга, а я ее... предала. Тогда, конечно, я это так не называла, казалось — пустяки, подумаешь, детские дела. А теперь вот, когда вспоминаю... нельзя предать безнаказанно, понимаете, Фима? Нельзя, даже если тебе одиннадцать лет... Потом были другие собаки, но это уже не то. Да и жизнь пошла другая, как-то, знаете, сразу все не заладилось... Да. А Динка была моей первой любовью.

— Ее тоже звали Динкой?

— Ну конечно же! Разве я вам не говорила? Именно Динкой, а как же!

На работе у Лаптева тоже кое-что произошло. Во первых, ту злосчастную конференцию внезапно отложили до февраля, и вот начальник лаборатории, вызвав Лаптева, сказал ему:

— Вы, Ефим Федосеевич, подработайте свой доклад. Время теперь есть, тема, которой вы занимаетесь, перспективная, могут получиться интересные данные. Поищите. Попробуйте, например, применить в качестве катализатора металлический натрий, этого еще никто не делал, в литературе, во всяком случае, я ничего подобного не встречал. Ни в нашей, ни в зарубежной. А вдруг, чем черт не шутит...

Несмотря Лаптев начал работать с натрием, и что-то забрезжило. Правда, пока из девяти проведенных реакций нужный результат давала одна, но и то хлеб. Значит, все дело в оптимальных условиях, это ясно. Сотрудники, по крайней мере, уже завидовали.

Во-вторых, за прошлогоднюю работу лаборатория получила большую премию. Ответственный исполнитель Мустыгин к тому времени проштрафился, и исполнитель Лаптев очень удачно купил себе импортное демисезонное пальто. Выбирать его в универмаг с Лаптевым пошел пижон и тряпичник Рыбаков, всегда знавший, что сейчас носят и что будут носить в следующем сезоне. Заодно купили с рук и зимнюю шапку, пыжик не пыжик, но что-то пушистое и, главное, Лаптеву шло.

Когда одетый, как боярин Шуйский, Лаптев на другой день явился на работу, лаборатория была потрясена.

— Девки, он же у нас интересный мужчина, — сказала главная красотка отделения Наташа Бессараб, — куда мы, дуры, глядели? Давайте все выходить замуж за Фиму.

Каждый вечер после работы Лаптев брал Днику, и

они отправлялись гулять. Шли по хозяйственным делам — в магазины, прачечную, химчистку. Лаптев медленно вышагивал по улице в своем элегантном новом пальто, собака преданно шла рядом, и попадающиеся навстречу молодые женщины отвечали на взгляды Лаптева благосклонными улыбками, а не бежали прочь, отвернувшись, точно он — витрина похоронного бюро, как довольно точно заметил тогда доктор по имени Эмиль.

Очень часто какая-нибудь девушка, кокетливо повизгивая от восторга, принималась гладить Динку, и Лаптев отлично понимал, что все это, конечно, камуфляж, собака — только предлог, чтобы привлечь его, Ефима, внимание.

Как-то, выйдя из булочной, Лаптев увидел, что перед Динкой, ждущей его у входа, сидит на корточках барышня в клетчатом пальто и длинном синем шарфе. Концом шарфа она щекочет Динке нос, а та только вежливо отворачивается. Заметив подходившего Лаптева, собака кинулась к нему, девушка подняла лицо и вдруг просияла:

— А я вас знаю! — торжествующе объявила она, выпрямляясь. — Это вы летом приносили нам в ателье польские туфли. Теперь поступил новый клей, так что приходите, починим.

«. . . Неужели все-таки гардероб играет такую роль в жизни человека? — с интересом раздумывал Лаптев по дороге из булочной. — Стоило приобрести эти вещи — и будьте нате: улыбки, заигрывания, взгляды. А раньше? И ведь прыщи и те куда-то подевались, вот смех!»

В последнее время Лаптев раза три или четыре звонил мистификатору Эмилю, но дозвонился один раз.

— Я беспокою вас, почтенный доктор колдовских наук, чтобы сказать большое мужское спасибо, — начал Лаптев весело.

— Знаю. Рад, — отозвался Эмиль. — Благодарность в вашем голосе заносу в блокнот.

— В Красную книгу?

— Пока еще только в блокнот. Как Динка?

— В порядке.

— Берегите собаку, господин удачник, в ней — все ваше состояние.

— Неужели?

Лупоглазый доктор хмыкнул, помолчал, потом заговорил опять:

— Скажите, вам не приходилось, например, посреди поля или где-нибудь в лесу испытывать нелепое желание поклониться в пояс земле или упасть в ноги деревьям, которые так, казалось бы, безразлично стоят вокруг?.. Впрочем, это совсем не телефонный разговор, может быть зайдете?

— На этой неделе не получится. Полно работы. И, стыдно сказать, закрутился в вихре светских удовольствий.

— Звонки. Приглашения в гости. Прелестные женщины, а? Как знаете. Но, может быть, ненадолго? На часок? Так сказать, *roug passer le temps*?

— После понедельника — непременно.

...Все-таки кто он, этот Эмиль? Скорей всего, очень одинокий, неудачливый человек, может быть с каким-нибудь дефектом, придумавший себе, чтобы заполнить жизнь, вот такое развлечение: разыгрывает людей, напускает туману и таким образом заводит знакомства... Откуда он все про меня знал тогда? И знает теперь? Ну, теперь он мог просто по голосу догадаться. А тогда? Да мало ли... Если постараться, можно всегда с кем угодно найти общих знакомых, это уже проверено. А в конце концов, такое развлечение ничем не хуже другого, никому, во всяком случае, не во вред. Допустим, от кого-то чудак услышал, что Ефим — интересный, незаурядный человек, и захотел познакомиться: навел справки, выяснил детали и разыграл этот спектакль. Неплохо, как профессионал, мастер сцены. Собачку, конечно, мог бы и

не всучивать, хотя, справедливости ради, надо сказать, что эта деталь как-то убеждает... да и Антонина отмякла и в квартире — рай земной... А я — зря. Вместо того чтобы пойти человеку навстречу, поддержать игру, подружиться с ним — ему ведь это нужно, а не мое дурацкое «спасибо»... Да. Схожу на той неделе обязательно. Надо бы пораньше, так ведь, серьезно, не разорваться, навалились приятели, как-то сразу все вдруг, что ни день — куда-нибудь тащись: то в преферанс, то Мустыгин-клаустрофоб не может пойти на просмотр в БДТ и буквально силком навязывает билеты.

Почему это люди так обожают играть в благодетелей? Вот Рыбаков, после того как помог приобрести тогда новое пальто, считает себя опекуном и наставником. Сам, если уж начистоту, личность сомнительная, единственный талант — умение одеться и нахально вести себя с дамами. Довольно противно, а дамы — вон, та же красотка Бессараб — млеют. Вчера, например, подошел, хлопнул по спине, условно — по спине, и заорал: «Наталья! Беру после работы в пивной бар!» И — боже ты мой! — весь остаток рабочего дня эта дурочка мазала ресницы и красила веки.

Правда, на тот просмотр в БДТ она тоже пошла с большим удовольствием. Ресниц она тогда, помнится, не мазала и вообще вела себя буднично, но, может, и не буднично, а торжественно? Потому что пойти с Лаптевым для нее — событие, это тебе не Рыбаков со своей дублировкой и пустой головой.

Раздумывая на все эти темы, Ефим брился, переодевался, завязывал новый галстук — настырный Рыбаков зазвал сегодня к себе на киноартиста. Артист — довольно известный, где только Рыбаков их берет? Ефим посмотрелся в зеркало и остался доволен: новый костюм сидит прекрасно, галстук в цвет к носкам, лицо — очень даже ничего.



Динка, лежащая у двери, подняла голову и с надеждой взглянула на хозяина.

— Собака — дома! — сказал ей Лаптев, и она, поняв, что прогулка не светит, тотчас уткнулась в лапы и закрыла глаза. Оскорбилась.

— Я — в гости, поняла? В гости с собаками не ходят, — вразумлял ее Лаптев, а сам подумал, что явиться к пижону Рыбакову с его киноартистом, ведя на поводке какого-нибудь датского дога, было бы, пожалуй, эффектно. Но вслух про дога он, конечно, ничего не сказал.

Работа с металлическим натрием шла довольно успешно, уже не одна из десяти реакций удавалась Ефиму, а четыре-пять. Наташа Бессараб, которую подключили к нему в помощь, обещала, что к Новому году добьется ста процентов.

— От лаборанта зависит все! — самонадеянно объявила она. — А у меня, Ефим Федосеевич, золотые руки. И не только руки...

Тут находящийся рядом Рыбаков сально заржал и сказал, что это он может подтвердить. Лаптев брезгливо молчал, а сам думал, что люди, все как один, что бы ни случилось в мире положительного, склонны считать это своей персональной заслугой. «От лаборанта зависит все». Видали? Что поделаешь, красивая женщина, ей ум ни к чему. Как это вчера выразился вон тот пошляк? «Если бы все женились на умных, кому бы достались красивые?» И эта — туда же... «Не только руки...» Явно дает понять... Что ж! Поглядим, уважаемая, поглядим, торопиться нам некуда, мы один раз уже нажглись с женским полом... Интересно все же, как она там поживает, его беглая половина Светлана Борисовна?

В ближайший понедельник Ефим, как и было обещано, позвонил телепату и сказал, что освободился и может ненадолго зайти. Тот почему-то особенного восторга не проявил, промямлил, что простужен, но «если хотите, можете заглянуть».

После такого приглашения желание идти у Ефима, откровенно говоря, пропало, тем более что погода была гнусная — мокрый снег. Но откладывать тоже не имело смысла, остальные дни недели все были буквально забиты битком, он специально высвободил вечер, да и не хотелось, чтобы невыполненное обязательство висело над головой.

Ефим взял собаку и отправился, удивляясь по дороге странному все же характеру этого типа — то сам хочет общения, просит заходить, а звонишь — вроде бы и не рад.

В комнате «доктора», как и в прошлый приход Лаптева, царил беспорядок, а на столе он, казалось, даже увеличился, прибавились какие-то совсем уж бессмысленные вещи, например ржавый детский совок и грязный дед-мороз из ваты.

Чай пили опять на тахте, и сегодня эскулап ни о чем не расспрашивал. Обвязанный шарфом, одетый в два свитера (рукава нижнего неряшливо торчали), он, поминутно борясь с налетающим, как ураган, кашлем, тем не менее весь вечер болтал точно заведенный, держа на коленях разомлевшую Динку.

Сегодня он разглагольствовал о любви. Развивал довольно бредовую, им самим, конечно, разработанную теорию, что любовь, мол, это нечто вроде магнитного поля, окружающего, как скафандр, того, кого любят.

— Понимаете, — информировал он, тараща на Ефима свои и без того выпученные глаза, — в идеале необходимо, чтобы каждого человека хоть кто-нибудь любил. Другой человек или животное — неважно. Главное, чтобы любил сильно, — тут он наклонился и поцеловал собаку между ушами, — и в этом случае тому, кого любят, ничто не грозит, никакие несчастья. Силовые линии поля не пропустят их, отобьют. Или уж, в крайнем случае, смягчат.

— Для этого вы и вручили мне собаку? — усмехнулся Ефим.

— И для этого тоже. Но не так просто, не так однозначно, топ аті. Динка — это талисман, волшебный пес.

«Повело, — тоскливо подумал Ефим, — пошло-поехало. То силовые линии, теперь — волшебный пес. То мытьем, то катаньем хочет внушить, что мои успехи упали с неба, вернее, не с неба, а из его рук. Каждый человек — сам кузнец своего счастья. Как говорит отец: «Не потопаешь, не полопаешь».

Лаптев вдруг спохватился, что Эмиль давно молчит и смотрит на него грустным изучающим взглядом.

«Черт бы его побрал, вдруг отгадал, о чем я думаю, и скажет сейчас какую-нибудь гадость!»

Но телепат не сказал ничего, отвернулся. Он гладил Динку, чесал у нее за ухом, потом долго откашливался.

— Конфет не принесли? — спросил наконец и, не успев Ефим ответить, махнул рукой и устало уронил: — Ладно. Это я так, не берите в голову.

Ефим почувствовал, что пора идти, и стал прощаться, Эмиль не задерживал. Непонятный это был человек и нелепый, сам не знал, чего хотел. Очевидно, ему просто нужно было выговориться, изложить свои доморощенные теории, а кому — неважно. Скорее всего, слушатели выдерживали не больше одного сеанса, сбегали и требовалось вербовать новых.

Наступил Новый год. Ефим Федосеевич встретил его дважды: сперва дома, в десять часов, в обществе Антонины Николаевны и Динки; ели специально изобретенный пирог с лимоном и пили шампанское, которое купил Лаптев по случаю прогрессивки. Вместо обычных двадцати процентов дали тридцать. Скажите, пожалуйста, почтеннейший Эмиль, как вас там по батюшке, — может быть, решение администрации выплатить сотрудникам института лишние десять процентов — тоже результат вашего колдовства? Между прочим, старшего инженера Е. Ф. Лаптева на днях официально утвердили руководителем темы и написали представление на ведущего. Очень хотелось бы знать — это тоже вы или все-таки следствие кое-какого, пусть ничтожного, экспериментаторского таланта некоего жалкого химика? Каждый — сам кузнец, вот какие дела...

Новогоднее пиршество у Володи Рыбакова прошло блистательно. Среди приглашенных, кроме прикормленного, уже знакомого Ефиму киноартиста, был еще американец, очень забавно и мило говоривший по-русски. Помнится, речь за столом зашла о собаках: Рыбаков со смехом уговаривал Ефима поменять его дворнягу на королевского пуделя, а Наталья Бессараб приняла все всерьез и с пьяной страстью стала кричать, что, если Фимка совершит такую подлость, она выкинет его установку и все банки с натрием с пятого этажа.

Американец, слушавший с вежливой улыбкой эту дискуссию, принял в ней участие: у его родителей в штате Индиана, оказывается, тоже есть собака, немецкая овчарка, очень злая.

— German shiper, — важно произнес Лаптев.

— О, не совсем так, — поправил американец с ослепительной улыбкой, — немножко другое: sheep dog, а как ты сказал, это на русский — «немецкий моряк».

И продолжал рассказывать про свою овчарку:

— Лэрри хотел кусить меня. Не очень, ну... так и так. У него была кость. Он лежит верху лестницы перед спальней родителей. Они уже там, а я — низу смотрел тиви... Когда я хотел лечь спать, Лэрри боялся, что я хотел взять кость. Конце концов, нужно было мой отца взять кость, и он спросил Лэрри свою спальную. Сестра бегала в свою комнату, я низу — туалет, запер дверь, и как мать пережила, не знаю. Следующий день — ничего, Лэрри как обычно любил меня.

Американец громко захохотал, гости тоже, Ефим со смеху чуть не подавился цыпленком-табака. Ему почему-то было очень приятно беседовать с американцем о собаках.

Потом слушали Высоцкого, последние записи, потом опьяневшая кинознаменитость тихим голосом читала Рильке. Под утро Наташа категорически потребовала танцев, а то скучища, интеллектуалы чертовы, больше в жизни не приду, и не зовите!

Плясала она здорово, в основном с американцем. А он, осовевший было от нашей водки, — кто это выдумал, что они умеют пить? — живо взбодрился и прямо прилип. Рыбаков чинно танцевал со своей востроносенькой женой. Вообще замечено: дома он бывал совсем не такой, как в институте, — солидный, вальяжный, эдакий хлебосол-семьянин. Ефим тоже станцевал с Наташей раза три. Она молчала, стеснялась, наверное, — все-таки начальство, а может, раскаивалась, что в начале вечера назвала его Фимкой. Кто их, женщин, поймет. Но одно было вполне очевидно Ефиму: он Наташе нравился, пожалуй, больше всех этих.

Поэтому, уверенно ведя ее под музыку старомодного вальса, он, сохраняя на лице полную индифферентность,

слегка пожал ее руку. И тотчас получил ответное пожатие.

«Антонина, конечно, давно спит и видит десятый сон. . .» — невпопад подумал Ефим.

После ташев пили кофе, артист опять порывался читать, но его не слушали, начали расходиться. Одеваясь, Наташа посмотрела на Лаптева, и он сразу ее понял.

На улицу они вышли вдвоем, сбежали по лестнице, пока другие гости, галдя, пытались вызвать лифт. Было еще темно, падал снег. Наташа тихо шла рядом мелкими из-за высоченных каблуков шагами. Ефим нарочно не взял ее под руку, хотел посмотреть, что будет. Но она не решалась, шла, помалкивала. Ждала.

Ефим понимал это и ломал голову: не предложишь — обида будет смертельная, а как предложить?.. Видела бы его сейчас Светлана — идет по улице мужчина, которым она пренебрегла, которого за человека не посчитала, использовала, чтобы кому-то там насолить, а насолить, тут же и выкинула, как пустую папиросную пачку, идет он по улице и ведет к себе домой такую красотку, на которую все оборачиваются, — вон, парень с гитарой аж шею вывернул, а сам, между прочим, с дамой.

— Куда это ты, Фима, заруливаешь? — вдруг каким-то сонным голосом спросила Наташа. — Мне, например, налево.

«Обиделась, — понял Ефим, — девушки любят, чтобы им говорили слова, а то потащил к себе ночевать, как будто это само собой разумеется. Пусть они в душе давным-давно согласны, а все равно надо делать вид, дать возможность поломаться, так, слегка, для самоуважения. . .»

— Наташа, — четко произнес он, оставиваясь и беря ее за руку, — Наташа, я прошу тебя стать моей любовницей.

Чего угодно мог ожидать Лаптев в ответ на свое предложение: сдержанной стыдливости, притворной оби-

ды — мол, «я вам не такая», — деловитого согласия и даже смущенного отказа — мало ли какие могут у девушки быть обстоятельства, — но того, что произошло, он уж никак не предвидел и даже в первую минуту решил, что Наташа, скорее всего, сошла с ума.

Секунду она широко открытыми глазами смотрела на него, потом взялась за грудь, тихо сказала: «Ой, не могу», зашаталась, потом затряслась, согнувшись, и слезы потекли по щекам, смывая синюю тушь.

— Ну, ты даешь! — повторяла она. — У-ми-ра-ю...

Лаптев испугался как следует: дура, казалось, сейчас упадет на тротуар и забьется в конвульсиях. Он стоял молча и оцепенело ждал.

Наташа внезапно прекратила свою пляску святого Витта, судорожно вздохнула и, аккуратно промокнув ресницы носовым платком, тихо спросила Лаптева:

— Так ты говоришь — «стать»?

Тут припадок повторился, но продолжался на сей раз недолго и без слез. Однако Ефим успел за это время прийти в себя и решить, что — пошла она на фиг, неврастеничка, он, можно сказать, из джентльменских соображений, он вообще любит другую женщину... И при этом рисковал, потому что а вдруг бы она согласилась? Возник бы роман между начальником и подчиненной, что, как говорится, совсем не способствует... Тем не менее он на это шел, а она, вместо того чтобы оценить, устроила идиотскую истерику.

— Неплохо бы иметь чувство юмора, Наталья Николаевна, — сказал он ядовито, — ха — шутка! В смысле — смех.

— Это другое дело, — очень серьезно и как бы даже с сочувствием сказала Наташа, — надо предупреждать в таком случае.

Всю остальную дорогу они молчали, иногда Наташа искоса поглядывала на Ефима и сразу отворачивалась.

«Поздно, матушка, — мстительно думал он, — все по-

нимаю: жалеешь, что глупо себя вела, надеешься, что я это замечу. А я — не замечу. Таких красоток на Невском — штакетником, только свистни — любая прибежит».

Лаптев так никогда и не узнал, разболтала Бессараб в институте про этот инцидент или нет. Могла, конечно, разболтать, чтобы похвастаться. Но могла и промолчать, если рассчитывала, что Ефим повторит свое предложение. Девчонка просто набивала себе цену, не в любовницы к нему она метила, а замуж!

Рыбаков после встречи Нового года стал называть Ефима «герой-любовник», вечно подмигивал, отпускал рискованные шутки, решил, очевидно, что у Лаптева с Натальей что-то было. Ну, как же — танцевали, ушли вместе. Счастливый человек — все-то у него просто и понятно, а на самом деле ничего не просто и совсем не понятно — ведь живет же где-то на своем Урале Светлана. Как живет? Что делает? Если верить теории Эмиля про любовь, похожую на скафандр, и про силовые линии, которые отгоняют неприятности, то, надо думать, живет она хорошо...

8

В январе события помчались друг за другом с пугающей скоростью. Десятого числа Лаптеву дали «ведущего», а двенадцатого был техсовет по результатам первого этапа его работы, где Ефим сделал короткое, но весомое сообщение. Пока говорил, все время видел себя со стороны — как он ходит с указкой вдоль своих развешанных на стене таблиц и графиков, как уверенно, без бумаги, рассказывает, как четко отвечает на вопросы. А что ему, в самом деле, путаться и мандражить? Реакция с металлическим натрием впервые пошла у него, у Лаптева. Впервые.



Естественно, все последующие выступления были на тему «наш большой успех», в заключение выступил начальник и час говорил, тоже напирая на «мы», «наша» и «у нас», строго судить его за это не стоит — все мы люди, все человеки, у всех честолюбие.

После техсовета жали Лаптеву руку, даже Мустыгин, хотя он половину времени провел в коридоре — в просторном зале техсовета ему то и дело становилось душно и страшно, и он выбегал за дверь подышать. Рыбаков, любящий, как известно, быть женихом на всех свадьбах, по случаю успеха лучшего друга вырядился в кожаный пиджак, подарок американца. Лаптеву он сказал, что считает для себя большой честью служить с ним в одном офисе, и надеется, что будущие биографы этого замечательного ученого упомянут где-нибудь в сносках и его, Рыбакова, скромную фамилию. С этого дня вместо «героя-любовника» Лаптев для него стал «то академик, то герой».

Восемнадцатого января Ефиму Федосеевичу было предложено начать потихоньку оформлять командировку в Москву — конференция открывалась первого февраля. Володя Рыбаков обещал все хлопоты с билетами на «Стрелу» и с гостиницей взять на себя. «Устроимся в Советской, у меня там приятельница администратором, не таскаться же через весь город куда-нибудь на ВДНХ». Несчастный Мустыгин, вздыхая, ехать отказался, он не только в клетушке купе, но даже в салоне ТУ-134 чувствовал себя как в гробу.

Когда замдиректора подписал командировочное удостоверение, а доклад, любовно перепечатанный Наташей, был выучен почти наизусть, Лаптев счел своим долгом позвонить Эмилию. Тот отнесся к его звонку как-то кисло, к себе не позвал, о делах не спросил, зато настырно интересовался Динкой: как она, сколько гуляет, что ест и т. д. и т. д. Ефим, подавив раздражение, подробно ему отчитался, и «доктор» сказал:

— Плохо. Прогулку необходимо увеличить минимум на час в сутки, собаке надо двигаться. Что вы, в самом деле, не можете раз в неделю выехать с ней за город? Эх вы... «кузнец»...

«Выехать!» Советчик! Да как раз на выходные у Лаптева накапливается столько дел, что успевай поворачиваться. По хозяйству — это раз, что он, свалит весь свой быт на Антонину? Хватит того, что она руководит уборкой и кормлением собаки. С первого января по воскресеньям плавательный бассейн — это два, потом встречи с приятелями — три, а пригласить знакомую девушку в кино надо? Все-таки он мужчина, а не только собаковод. А театр и Филармония? А — читать?

Все это Лаптев, как мог спокойно, объяснил Эмилю.

— Собака гуляет вполне достаточно, три раза в день, — сухо закончил он, — а уж где — в лесу или в саду, в конце концов, для нее значения не имеет.

Сварливый тон пучеглазого благодетеля, его въедливые вопросы про рыбий жир, который, дескать, удавись, а ежедневно подливай собаке в миску, выговор Лаптеву за то, что он ничего толком не знает о собачьем рационе, так как — о ужас! — передоверил его соседке, идиотские подкусывания — а какие, мол, такие невероятные спектакли посещает Лаптев и что за бестселлеры он читает, может быть сказку Пушкина о рыбаке и рыбке? — и другой подобный нудеж так в конце концов разозлили Ефима, что он, чтобы не обхамить парапсиха, решил переменить пластинку.

— Как там насчет Красной книги? — спросил он.

— Че-го? — каркнул Эмиль.

— Занесли вы меня в книгу или все еще держите в блокноте, как в предварилке?

— Какие еще книги? Какие блокноты? — Голос Эмиля звучал брезгливо и злобно. — Что вы глупости болтаете? Отнимаете только время, а меня люди ждут!

Неприятный тип. Его, видите ли, люди ждут. Лаптев

готов был дать на отсечение руку, что никаких людей нет, опять вранье. Вот она, плата за чашку холодного чая и шизофреническую беседу! Если бы у Лаптева не случился тогда такой неудачный день, он никогда не поддался бы на эту глупую провокацию. Прямо гангстеризм какой-то! Духовное тунеядство! Воспользоваться трудной минутой, а потом присосаться, как клещ, дышать невозможно, будто кто-то держит тебя за горло, давит и нашептывает: «Не забудь — ты всем мне обязан, ты — в долгу, без меня ты никто и ничто». Видали — коллекционер благодарностей! А сам? Лаптев безропотно взял у него абсолютно ненужную собаку, теперь ходит, тратит на выслушивание его болтовни время — время, которого не то что мало, а нету, элементарно — нету! Регулярно звонит, наконец. А в ответ — этот нарастающий нажим, это бесцеремонное влезание в душу. Можно подумать — у него что-то просят или когда-то просили, сам затеял этот балаган с колдовством и собакой. Как были вы, Ефим Федосеевич, тряпкой, так, видно, и остались. Не умеете врзаться. Рыбаков сумел бы. И чего же всем кому не лень не садиться вам на шею? Вот и Антонина Николаевна, та тоже в последнее время стала хуже татаро-монгольского ига: то советы примется давать, когда ее не просят, то — куда ходил да с кем ходил. Ей, конечно, скучно, одинокий человек, Лаптев с Динкой ей вместо семьи, но надо же понимать, бабушка, что у нас с вами разный уровень и, как ни приятно пить чай в вашем обществе и слушать склеротические рассказы о детстве, когда «жизнь была светлой, как родниковая вода», надо и меру знать, не каждый же день, правда?

Тридцать первого января вечером Лаптев должен был выехать в Москву. Тридцатого ему в институт позвонил киноартист и сказал, что приглашает его и Рыбакова сегодня к шести часам на студию: будут показывать картину, в которой он только что отснялся.

— Это еще не официальный просмотр, — сказал ар-

Тист измученным голосом, — кроме съемочной группы будет всего человек восемь. Так я жду. И Володьке передайте.

Не успел Лаптев положить трубку и дойти до своего стола, как его позвали опять. Услышав голос Эмиля, которому он своего рабочего телефона никогда в жизни не давал, Лаптев сразу разозлился.

— Зайдите ко мне сегодня вечером, — не здороваясь, отрывисто приказал Эмиль.

— Сегодня вечером я занят, — холодно и твердо ответил Лаптев.

— Ах так. А если я, допустим, болен? Лежу один, некому сходить в аптеку за лекарством?

Голос был провокационно-издевательским, сильным и звучным. Болезнью тут и не пахло.

— Повторяю, я занят.

— Чем, позвольте вас спросить?

Это было уже прямое нахальство. Надо ставить точку. И Лаптев тихо произнес:

— Вот что, уважаемый эскулап: а не пошли бы вы... Если вам обязательно требуется плата, я пошлю вам бутылку коньяка Камю. Бандеролью.

В трубке раздались отрывистые короткие гудки.

— Кого это ты послал? — осведомился подошедший Рыбаков. — Крут, батюшка, крут. В голосе прямо — железный металл.

Лаптев кратко объяснил, что привязался какой-то шиз и набивается в друзья, малопримечательная история, а вот другое дело — сегодня показывают фильм, надо быть на студии к шести часам.

Фильм оказался посредственным, а знакомый артист играл в нем просто плохо — напыщенно и фальшиво. Однако пришлось говорить комплименты и пить после просмотра водку.

На обратном пути, уже у самого дома, Лаптев задумался и чуть не наткнулся на слепого. Слепой был маленький и тщедушный, в затюрханном пальтеце и шапочке, наехавшей на самые глаза. Он медленно и как-то совсем неслышно двигался вдоль дома, шаря рукой по стене. Обычной в таких случаях палки, которой стучат о мостовую, у него не было, поэтому Лаптев, шагавший довольно быстро, чуть не сбил его с ног. Но, слава богу, в последний момент заметил и отпрянул, даже лица не успел разглядеть, мелькнуло что-то бледное, маленькое, как бы даже размытое. Мелькнуло — и пропало. Лаптев, не сбавляя шагу, прошел мимо. И вдруг, отойдя на несколько шагов, вздрогнул. Содрогнулся от непонятно откуда идущего тревожного ползучего чувства.

«Может, я его видел раньше? Нет. Не помню. Да и какая разница — видел или нет. Ладно. Сейчас — вывести собаку, потом посмотреть еще раз доклад и спать. Завтра ехать».

Но противное ощущение не исчезало, скреблось, как мышь, ползало, до самой ночи шуршало и хрустело челюстями и только во сне отпустило.

9

Пропала собака. Это было непостижимо — вечером Лаптев вывел ее перед сном; когда вернулся, Антонина Николаевна уже спала — света в ее комнате не было, — Ефим, как всегда, запер входную дверь на задвижку и крюк, а утром открыл глаза и не увидел Динки. Ее не было на обычном месте в углу, и Ефим решил, что псина кусочничает в кухне при Антонине. Однако соседка все еще спала, а собаки не оказалось ни в коридоре, ни в кухне, ни в ванной комнате, куда Лаптев заглянул уж так, на всякий случай. Тогда он подумал, что старуха ночью взяла собаку к себе и теперь вконец избалованное животное валяется у нее в ногах на кровати. Успокоив-

шись, он начал бриться, как вдруг услышал из коридора голос соседки:

— Дина! Дина! Бака! Бача моя!

Через секунду в дверь постучали, и Антонина Николаевна, заглянув, горестно сказала:

— Не хочет. Я ей колбаски приготовила, а она не идет.

— Разве Динка не у вас? — удивился Лаптев.

Потом они искали собаку вдвоем. Заглядывали во все углы, в стенной шкаф — Антонина Николаевна боялась, что Динка заболела и забилась куда-нибудь: «Животные, знаете, не любят, чтобы видели, когда им плохо, это у людей все напояказ».

Очень скоро стало очевидно — в квартире собаки нет.

Лаптев сидел в кухне на табуретке, он уже опоздал на работу, надо срочно бежать, иначе будет скандал, на десять часов назначено совещание как раз по поводу его завтрашнего выступления на конференции. Напротив стояла, скрестив на груди руки, Антонина и, глядя на него с отвращением, говорила:

— Вы явились вчера поздно ночью, где-то, конечно, выпили, не спорьте, вы это делаете все последнее время, пошли с собакой гулять и потеряли ее. Не спорьте!

К ужасу Лаптева, старуха вдруг начала рыдать, у нее дергалась голова и тряслись руки, но времени на объяснения и утешения у него не было, он побежал на работу.

Собаку надо будет поискать вечером, наверняка бегает где-нибудь около дома. Но как она оказалась на улице? Антонина Николаевна так горячо обвиняла его... минуточку! Не слишком ли горячо?.. Эта ее привычка проснуться ни свет ни заря и выносить мусор...

Именно сегодня-то как раз и не хватало этой галиматии с собакой! Вечером поезд, ничего не собрано.

— Нашли Динку? — вот был первый вопрос, которым встретила Антонина Николаевна вернувшегося после работы Лаптева. В вопросе звучала откровенная ненависть и не было смысла — прекрасно видела, что Ефим пришел один. А ведь перед этим он добросовестно обошел все соседние улицы и дворы, спрашивал мальчишек и пенсионеров — никто не видел рыжей собачонки с широкой плоской спиной.

Допрашивать соседку было глупо — как будто она признается! Так что пришлось Лаптеву с испорченным — очень кстати! — настроением гладить себе рубашку, собирать портфель, вспоминать, не забыл ли чего, — бритва тут, зубная щетка тут, папка с докладом... вот болван, чуть не оставил на столе!

Билет на «Стрелу» он аккуратно убрал в бумажник, туда же — приглашение на конференцию, пересчитал командировочные. Как будто все, а времени до поезда еще полно, сейчас восемь, а из дому выходить самое раннее в одиннадцать. И Ефим решил пойти поискать Динку еще раз. От Эмиля можно ждать чего угодно, да и старуха со свету сживет из-за этой собачонки.

В прихожей на столике, где телефон, он вдруг заметил записку. Разлапистым почерком Антонины там было выведено:

«Пока вы вчера пьянствовали, звонила ваша супруга. Будет звонить сегодня в половине одиннадцатого».

Ну, дела! Объявилась! Потрясенный Лаптев бросился назад в комнату, кинул пальто на диван и зачем-то выхватил из портфеля электробритву... Погоди. А что, собственно, произошло? Почему она? Узнала, услышала наконец про его дела на работе... но ведь она — в Свердловске... Да мало ли кто мог рассказать?.. Приехала к матери, а тут кто-то видел его на улице с киноартистом... Спокойно. Возможно, рассказали и про Наташку, был же он с ней тогда на просмотре, а такие, как она, сразу обращают на себя внимание. И тогда Светка...

Возьмите себя в руки, Ефим Федосеевич! По крайней мере пусть эти руки не трясутся так мелко и противно. Никакого бритья! Это твой звездный час, и ты обязан встретить его как мужчина. Не сидеть тут с бритвой, уставясь на часы, а хладнокровно пойти и отыскать свою собаку, которую выпустила старая ведьма. Ты — руководитель научной темы, ведущий инженер... Но она же была в Свердловске...

Лаптев надел пальто и шапку, медленно — руки все-таки еще дрожали — застегнулся на все пуговицы и твердой походкой вышел из комнаты. Когда он проходил мимо открытой двери в комнату Антонины Николаевны, оттуда громко сказали:

— Уезжаю к сестре в Шапки. На неделю. Квартира пустая, пусть обворуют, мне наплевать!

«Ну и катись!» — мысленно ответил Лаптев.

На улице шел густой вязкий снег, он сразу же залепил пальто и шапку, начал таять, и холодные струйки поползли по лбу и щекам. Лаптев шел наугад, даже особенно не глядя по сторонам, смешно было надеяться найти кого-нибудь в этой снеговой каше. Было уже около девяти, через полтора часа она позвонит. Ни одного вопроса он не задаст ей. Ни одного упрека. Спокойно выслушает...

И вдруг Лаптев понял, что идет к нему, к Эмилю. Все верно: вон за тем поворотом — переулочек, где стоит дом в палисаднике. Мысли Лаптева болтались где попало, а ноги делали дело, вели его по единственному адресу, куда, скорее всего, прибежала заблудившаяся собака.

— Пожалуй, еще не захочет отдавать, будет нудить, что не уберет...

Когда он вошел в подъезд... там было так темно, лампочка не горела, свет падал только с улицы и, когда



Лаптев открыл дверь, ему показалось — он видит на каменном полу чуть заметные мокрые следы собачьих лап.

Он долго звонил, потом стучал. Не открывали. Где же этот большой страдалец? Вчера вон не мог в аптеку сам пойти... Может быть, спит? Лаптев взялся за ручку и тряхнул дверь, нажал плечом, и она вдруг открылась прямо в темную прихожую, из которой потянуло нежильным холодом.

— Есть кто-нибудь? — крикнул Лаптев.

Было тихо.

— Хозяин! — еще раз позвал он. Никто опять не откликнулся, но в глубине квартиры что-то как будто шевельнулось. Скрипнула половица, послышались шаги, и вдруг из темноты в глаза Лаптеву ударил белый свет, карманного фонаря. Непроизвольно он прикрыл лицо ладонью, а когда отвел руку, фонарь уже светил мимо него на лестницу. Негромкий и совершенно незнакомый женский голос спокойно спросил:

— Что вам угодно здесь?

— Я ищу собаку. Вы не видели? Она могла прибежать сюда. Светло-рыжая, почти желтая, глаза...

Женщина молчала, и Лаптев тоже замолчал. Луч фонаря беспокойно рыскал по лестничной площадке.

— А где Эмиль? — спросил Лаптев.

— Что такое?! — надменно сказала женщина. — При чем здесь Эмиль? Вы — кузнец своего счастья. И довольно с вас.

Полоснув Лаптева по лицу лезвием своего проклятого фонаря, она взяла его за плечо и с неожиданной силой толкнула с порога на лестницу. Дверь тотчас захлопнулась, грохнул засов, и Лаптев остался один в темноте и тишине.

«Все в том же духе, — с яростью подумал он, — опять мистерия: мрак, шаги в коридоре. И привидение с карманным фонарем».

Он вышел на улицу. Снег уже не падал, пахло весной. Пройдя палисадник, Лаптев оглянулся и вдруг увидел: а дом-то темный, света нет ни в одном окне. Он всмотрелся, напрягая глаза, — во втором этаже, там, где живет Эмиль, кажется, открыто окно. А в соседнем нет стекла. И внизу два окна забиты досками. Мертвый дом, назначенный на слом.

Но постой! Эмиль звонил вчера утром, велел прийти. А две недели назад я сам ему звонил, сюда, по этому номеру. И осенью заходил. А тут такой вид, будто все жильцы выехали год назад. Запустение... А та женщина?..

И вдруг совершенно явственно услышал далекий собачий лай. Он шел из черной глубины оставленного дома, и Лаптев бросился назад. Прыгая через две ступеньки, он мгновенно взлетел на площадку, кинулся к знакомой двери и навалился на нее. Дверь не подалась. Тогда, не помня себя, почему-то дрожа всем телом, Лаптев изо всех сил рванул дверную ручку. Он колотил в дверь ногами, толкал ее, тряс, дергал. Наконец раздался сухой треск, точно отодрали прибитую гвоздями крышку посылочного деревянного ящика, дверь распахнулась, Лаптев бросился вперед и сразу ударился о что-то холодное и твердое. Застонав, он отпрянул, протянул руку, и она неожиданно уперлась в стену. Не веря себе, Лаптев полез в карман, нашел спички, чиркнул.

Старая кирпичная стена, глухая, тронутая плесенью. Спичка погасла.

Внезапно почувствовав страшную слабость и головную боль, Лаптев прислонился к этой стене, минуту стоял в темноте, машинально потирая ушибленный висок, а потом медленно стал спускаться. Голова болела все сильнее.

На улице он взглянул на часы, было десять, через полчаса позвонит Светлана, через час ему на поезд... Но она ведь может позвонить и раньше! Возможно, она звонила из Свердловска, междугородный разговор могут дать в десять сорок, а могут и в десять пятнадцать...

А что, если Антонина Николаевна передумала ехать к сестре, на ночь глядя?.. Конечно, сперва: «Я не обязана вести переговоры с вашей бывшей женой», надо попробовать объяснить, что только всего и нужно — отложить разговор на полчаса. Неужели откажет? Это — вопрос жизни и смерти, она ведь не зверь в конце концов, собак вон любит, а тут — человек. Лаптев бежал через улицу к телефону-автомату.

Он бросил в щель аппарата две копейки, схватил трубку, прижал к уху и другой рукой потянулся к диску. Но номера набрать не успел. В утробе аппарата вдруг громко захрипело, как в старых стенных часах, которые готовятся отбивать полночь, Лаптев замер, держа палец в отверстии диска, а хрипение внезапно смолкло, и из трубки послышался голос:

— Ну что вам еще, Ефим Федосеевич? — голос был тихим и серым. — Не пора ли наконец оставить меня в покое? Хóдите, ищите... Я устал и болен.

— Эмиль! — закричал Лаптев. — Эмиль, стойте! Где Динка?

— Нет у меня больше сил, поймете вы или нет. Пьян, если уж вам угодно, — тоскливо сказал Эмиль, — так что извините, если что не так. И, как честный человек, спешу довести до вашего сведения: болен я тогда не был. Сказал, чтобы... одним словом — тест. Не нужны мне ваши натужные визиты и беготня в аптеку с перекошенной физиономией. Все это — эрзац. Коньяк и ассигнации в коробках с конфетами. Тоска! А я имел в виду совсем другое. Быть благодарным — это счастье, Ефим Федосеевич, это — как любовь, простите за банальность... Да что вам говорить! Неудачник я, мистер Лаптев, карась-идеалист и последний романтик. Дурак, одним словом. Коллекционирую дырки от бубликов. Ну да ладно... А соседка ваша, которой вы в данный момент звоните, удаляется от нас с вами в вагоне электропоезда со средней скоростью восемьдесят километров в час.

— Где собака, Эмиль? Вы слышите? Где Динка?

— Вот кретин: «собака, собака»... А зачем она вам, собака-то? Некрасивая, старая, лапы короткие, похвастаться нельзя... А я опять проиграл. Вот и прощайте.

В трубке щелкнуло, звуки вальса «На сопках Маньчжурии» ни с того ни с сего хлынули в ухо ошеломленного Лаптева. Плавные и округлые, мгновенно заполнили они до краев стеклянную будку автомата. Ничего уже не пытаюсь понять и объяснить себе, Лаптев вышел на улицу; он опаздывал, вскочил в первый попавшийся трамвай, проехал три остановки, дождался минуты две своего автобуса, не дождался, озяб и быстрыми шагами направился через пустой, заваленный снегом сад к набережной канала.

Незамерзшая вода была черной, белели покатые берега. Ветер усилился, тряс деревья, стоящие вдоль набережной, только что осевший на ветках снег пластами съезжал вниз.

Узкоплечая щуплая фигура внезапно выросла перед Лаптевым. Он стоял посреди тротуара, человек в нелепой шапке, нависшей, как сугроб, над маленьким бледным лицом. Вчерашний слепой.

Лаптев шагнул в сторону. Слепой — тоже. Безобразные голые веки были похожи на пельмени. Тонкий голос выговорил:

— Гора с горой не сходятся, Лаптев, а Магомет с Магометом — всегда сойдутся. Это — как закон.

И тут Ефим понял: он украл Динку, кто еще? Предлагал деньги, целые пачки, тысячи! Сам не понимая, что сейчас сделает, Лаптев рванулся к человеку, тот не шелохнулся, только распухшие веки медленно приподнялись и черные грустные глаза внимательно взглянули на Лаптева. Он сделал еще шаг навстречу этим глазам,

поскользнулся, взмахнул руками и рухнул на тротуар. Правая нога неловко подвернулась, он дернулся от боли, скрипнул зубами. А когда, с трудом поднявшись, осмотрелся, никого поблизости не было, только осыпался с деревьев мокрый снег.

Медленно, прихрамывая на подвернувшуюся ногу, Лаптев двинулся дальше, и тут снова впереди что-то мелькнуло. Он не мог ошибиться — рыжая шерсть, острые уши, темные выпуклые, грустные глаза. Мелькнуло, опять мелькнуло... Он побежал, задыхаясь, хватая открытым ртом мокрый воздух, опять упал, ударился локтем, вскочил...

Не было впереди никого! Не было.

Тупой, тяжелый, как булыжник, порыв ветра внезапно ударил откуда-то сбоку, толкнул Лаптева в плечо, сбил с него шапку, и она, крутясь колесом, покатилась с берега вниз, к воде.

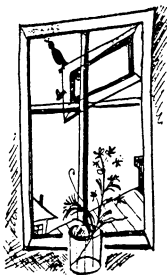
Лаптев сделал шаг с тротуара и тотчас провалился в мокрый снег по щиколотку. Шапка, на глазах погружаясь, уже плыла по черной воде. Чуть пошатываясь, ни о чем больше не думая, Лаптев брел к дому без шапки, в расстегнутом пальто. Остановившись, как старик, на каждой площадке, поднялся по лестнице, опустил руку в карман и тут же вспомнил, что ключ в бумажнике, что после той истории с дырой он всегда носил ключ в бумажнике — для верности.

Уже понимая, что сейчас произойдет, он полез в карман пиджака. Бумажника не было.

Бесстрастная, точно мертвая, выплыла мысль, что Антонины Николаевны нет, не будет до утра. И завтра не будет. А на часах уже десять тридцать пять.

За дверью зазвонил телефон. Лаптев вздрогнул. Телефон звонил непрерывными отчаянными звонками, истошно кричал, задыхаясь, точно на помощь зовет. И наконец, коротко всхлипнув, затих.

Все кончилось.



— Мама! Да перестань, наконец, сосать воротник! И поднимись, я отодвину кресло!

Надежда Кирилловна начинает вставать. Она крепко упирается в подлокотники, и на руках сразу вспухают толстые синие вены. Теперь — ухватиться за край стола, выпрямить спину. Ну, вот и все. Дочь Наталья двигает кресло в угол, смахивает с него невидимые крошки, оправляет на старухе платье.

— Все уже измято! — ворчит она. — Ничего нельзя надеть!

Старуха топчется, держась за стол, и тяжело дышит. Дочь Наталья берет ее за плечи, ловко втискивает в кресло.

— Мне не нравится это платье! — вдруг громко произносит старуха. — Носить такое платье — дурной тон. Дай мне мой пеньюар!

— Мама! Прекрати свои капризы! Придут гости, нельзя тебе — в грязном халате.

Дочь ходит по комнате широкими шагами и все что-то стряхивает, передвигает, а Надежда Кирилловна водит за ней глазами.

«Какая она некрасивая. И... старая... — с удивлением думает Надежда Кирилловна. — Я не была такой в юности. Сколько ей лет? Я родила ее... в пятнадцатом году?»

— Сколько тебе лет? — спрашивает старуха.

— О господи! — Наталья ударяет тряпкой по блестящему боку ужасного нового буфета. — Хоть ради дня рождения — помолчи!

Старуха недовольно жует губами.

«Да-а... День рождения... Сегодня — мой день рождения. Из-за этого — все. Это дурно сшитое платье. Кухаркино платье! И уборка. И коробка на столе. Коробку принес утром сосед, а Наталья сразу отобрала».

Старуха опять пытается встать.

— Ну, что еще?! Чего тебе не сидится? — кричит Наталья.

— Мой шоколад... — бормочет старуха, но тихо, чтобы дочь не услышала, и снова опускается в кресло. Она устала.

Наталья обводит глазами комнату, кладет тряпку и снимает передник.

— Ничего не трогай, — хмуро говорит она матери, — я — за хлебом. Где моя сумка?

Сумка стоит за старухиным креслом. Старуха протягивает руку, нащупывает застежку «молнию» и двигает ее взад-вперед. Потом смотрит на сумку и тихо смеется.

«Молния» похожа на Натальин рот — вот что! Если Наталья злится, она, когда говорит, так же не до конца разжимает губы, только сбоку. Старуха чуть-чуть приоткрывает застежку.

— Что же ты молчишь? Я ищу, а она молчит. Играет! О боже мой!

Старуха испуганно задерживает «молнию», складывает руки на животе и зажмуривает глаза, будто спит. Но на самом деле она видит из-под век, как дочь берет из ящика письменного стола кошелек, как шагает к двери своей некрасивой походкой.

«Совершенно невоспитанна. Не умеет себя держать, оттого и женихов нет», — думает старуха.

— Натали! — зовет она, но дочь исчезает за дверью.

«Почему не взяли ей хорошую гувернантку? Какой она была, маленькая? Не помню! Ничего не помню».

Память — как плотный, липкий ком: только ухватишь какую-то ниточку, потянешь, а та, точно резиновая, вы-

рвется, и нет ее. Старухе кажется, что Наталья всегда была такой, как сегодня, — высокой, костистой, старой и злой. Многие годы исчезли там, внутри плотного серого кома. Там Натальино детство и юность, там — совсем недавнее, вчерашний день.

«Но ведь я — не такая? В этой комнате, среди уродливой мебели, которую так любит Наталья, я — не такая. Почему?»

Старуха морщит лоб, медленно думает, шевелит на коленях опухшими пальцами.

Петелино. Дом на холме. Два пруда — большой и маленький. В маленьком вода покрыта ряской, там живут головастики. Их можно ловить сачком. Вечером в саду очень темно и пахнет маттиолой. Она некрасивая — мелкие крестообразные лиловые цветочки. Рояль на террасе и мамин голос. И Муся, сестра, красавица. На гимназическом балу Муся всегда в первой паре...

Старуха опять начинает возиться в своем кресле, боком выползает из него и — от стола к книжной полке, от полки — к спинке стула, от стула... Вот он, шкаф. Висят друг за другом в затылок одинаковые безвкусные Натальины платья. Старуха сдвигает их в угол. Не здесь. На полках — стопки белья, какие-то свертки. Коробки нигде нет. Руки дрожат. Стопки клонятся набок, рушатся. Где же коробка?

— Выбросила. Она могла, — шепчет старуха и начинает вытаскивать вороха одежды. Обеими руками. С полки — на пол. И еще на пол! А нижнюю полку не достать. Она пытается опуститься на корточки, ноги не слушаются, и старуха грузно садится перед шкафом среди смятого белья. Коробка! Никуда она не делась! Письма лежат, аккуратно перевязанные ленточкой. Эти — от Сержа. Как их много! Дерзкий мальчишка! Вообразил, будто... ну да бог с ним... От Анастасии. Анастасия умерла. А это — от Муси, все остальные — от Муси.



Старуха разворачивает письмо и читает. Очки ей не нужны, она прекрасно видит до сих пор. Она читает внимательно, несколько раз возвращается к началу, смеется чему-то, потом становится грустной, опускает письмо и долго сидит неподвижно. . .

— Нет! Я с ума сойду! Это просто невыносимо! — в голосе Натальи слезы. — На двадцать минут вышла — и на тебе!

По полу в беспорядке раскиданы ее рубашки, кофточки, полотенца. Мебель сдвинута. Посреди комнаты опрокинутый стул. Матери в кресле нет. Она сидит, согнувшись, у письменного стола и что-то пишет, даже не обернулась на Натальин крик. Наталья идет к столу.

«. . . Не печалься, родная моя Мусенька, — читает она, — все минует. Ведь ты еще так молода. В университет примут тебя непременно, верь мне. Желаю тебе, дружок, всего. . .» Карандаш падает и катится по столу. Старуха роняет голову на грудь.

Серый плотный ком вдруг начал пухнуть, раздулся и треснул посередине. И сразу в раскрывшуюся трещину хлынул день, синий и яркий, заблестели стекла террасы, полезли пахучие ветки, горько пахли и тыкались в лицо мокрые грозди черемухи, а щель делалась все шире, открыла дорогу к часовне и дальше, к лугу, за которым холмы, поросшие сизым лесом, а за холмами и вовсе неизвестно что, и это прекрасно, потому что сегодня мне исполнилось семь лет, и все еще впереди будет — и за холмы пойдем с Мусей ягоды искать, и в Петербург зимой поедем, а там — елка.

Серого кома и вовсе не стало, не стало и комнаты, где съжился в углу безобразный Натальин шкаф, съжился и притих, потому что такой безобразный. А мамин голос все пел и пел, и рояль плескался, как море тогда в Ялте, а потом и море тоже было здесь — шумело, дышало, поднималось и падало.

Наталья подхватывает мать под мышки и переваливает в кресло. Она бредет по комнате; тяжело дыша, поднимает раскиданные по полу вещи и кое-как запикивает в шкаф. Моря она не видит. Ни пруда, ни холмов — ничего. Зато она видит в зеркальной дверце шкафа свое отражение и усмехается, некрасиво кривя рот. Потом выходит из комнаты, но вскоре возвращается, неся перед собой вазу с цветами. Цветы невзрачные — мелкие лиловые крестики. Сейчас они свернулись и кажутся увядшими, но вечером раскроются, и тогда комната наполнится терпким горьковатым запахом.

Наталья ставит вазу на обеденный стол.

ОХО-ХО



Дети улеглись спать. Кошка перестала бегать по коридору и гонять целлулоидный шарик. Охо-хо уютно устроился между пружинами кресла и задремал. Было тепло. Привычно пахло пылью, и громко тикал старый будильник.

Резкие голоса разбудили его. По комнате ходили, скрипели дверью, двигали мебель.

— А может быть, не надо? Можно ведь вычистить пылесосом и сделать новую обивку. Может, не надо? — говорила Дочка Хозяина.

— Но какой же смысл? — возражал ее Муж. — Сколько можно жить прошлым? Ты как маленькая, ей-богу! Вот увидишь, поставим новый гарнитур, станет нарядно, красиво. Что за сентиментальность!

Дочка Хозяина вздохнула. Кресло подняли и потащили к дверям. Охо-хо осторожно просунул голову в прореху ветхой обивки. Он не боялся, что его заметят,

он ведь был совсем маленький, меньше пуговицы от пальто.

А кресло вынесли на улицу, в темноту.

— Оставишь на дворе — дворничиха будет ругаться! — шептал Муж Дочки. — Давай бросим его в канал. Смотри, народу совсем нет, никто не увидит.

Когда кресло стояло уже у самой воды, Охо-хо выскользнул из-под обивки и, сжавшись, замер на мокром холодном камне. Он пикогда еще не был здесь, всегда жил в доме, в этом кресле, сколько себя помнил. Внизу плескалась вода, много черной воды. Дул холодный ветер.

Хозяин любил это кресло. Сидя в нем, он читал по утрам газеты, а вечером толстую желтоватую книгу, в нем дремал после обеда. Охо-хо забирался в мягкий подлокотник, согревался у руки Хозяина, и они разговаривали.

— Охо-хо! — звал его Хозяин, шурша газетными листами. — Где же мои очки?

Он шарил по скатерти, и Охо-хо вылезал из-под обивки, бежал по столу, протирал стекла очков, потом тихонько брал Хозяина за палец и тянул его руку к очкам.

— А-а, вот они где! — радовался Хозяин и надевал очки. — Охо-хо... — И он принимался читать, а Охо-хо снова прятался в кресло.

Иногда Хозяин куда-то уходил. А когда возвращался, всегда приносил с собой новые запахи: раньше, еще давно, это были запахи духов, снега, иногда резкий, но приятный запах, от которого Охо-хо сперва хотелось смеяться и прыгать, а после — спать. Потом все чаще стали появляться запахи еды или лекарств. Последнее время Хозяин целые дни оставался в своем кресле, только ночью он ложился на широкий диван, и тогда Охо-хо тоже забирался под край одеяла у стенки.

А однажды Хозяин очень долго не вставал с кресла и не разговаривал с Охо-хо. И вдруг пришли Дочка Хо-

зяина со своим Мужем, стали что-то кричать, подняли Хозяина и куда-то унесли. Охо-хо остался в кресле. И вот сегодня унесли и кресло. Сначала он думал, что они несут кресло к Хозяину, но тут, на камне, у воды, почувствовал, что Хозяин, наверное, больше совсем не вернется.

Муж Дочки толкнул кресло. Оно упало в воду, но не утонуло сразу, а медленно начало погружаться. Когда из-под воды стал виден только вытершийся край спинки, Дочка Хозяина вдруг всхлипнула. Муж взял ее за руку.

— Пойдем. К чему такая чувствительность!

Они стали подниматься по каменным ступеням, и Охо-хо испугался: сейчас они уйдут, и он останется один на этих холодных камнях. Изо всех сил вцепился он в черную штанину Мужа Дочки.

...В комнате стало пусто и неуютно. Книги испуганно жались на полках. Никому не нужные очки лежали посередине стола.

Охо-хо обежал стол, протер стекла очков, заглянул в портсигар, в котором остались две папиросы. Надо было ложиться спать, и тут он заметил толстую книгу, ту, что Хозяин последнее время любил читать по вечерам. Охо-хо залез в книгу и спрятался между листами.

Но заснуть ему все-таки не удалось. Тихий голос Хозяина слышался, едва Охо-хо коснулся пожелтевших страниц.

Выхожу один я на дорогу,  
сквозь туман кремнистый путь блестит.  
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,  
и звезда с звездой говорит...

Охо-хо отбросил страницу и огляделся. В комнате было по-прежнему пусто, диван Хозяина белел в углу, накрытый зачем-то простыней, темный четырехугольник был виден на том месте, где раньше стояло кресло. И он

опять вернулся в книгу, закрылся с головой листом и прислушался.

...В небесах торжественно и чудно.  
Спит земля в сияньи голубом...

Только под утро Охо-хо крепко заснул. Ему снился Хозяин. Хозяин шел по длинной белой дороге, по обеим сторонам которой стояли высокие зеленые деревья, похожие на комнатные цветы, только больше.

...старый дуб склонялся и шумел.

— И это — букинисту! — громко сказал Муж Дочки. — Это ведь есть в полном собрании!

Книжку, в которой спрятался Охо-хо, бросили на пол, где уже лежала груда других книг.

Прижимаясь к стене, Охо-хо добрался до двери и выскользнул в щель.

Ветер налетел из-за угла, оторвал его от земли, поднял, закрутил и понес вместе с сухими листьями, брызгами воды и обрывками старой газеты.



## НАГОРНАЯ, ДЕСЯТЬ

В повестке, которую Влюбленный вынул как-то утром из почтового ящика, было написано следующее:

«7 апреля с. г. Вам надлежит явиться к 7 часам утра по адресу Нагорная ул., дом № 10, имея при себе ценные личные вещи. Явка строго обяза-

тельна».

«Не может быть! Это, наверно, не мне, — подумал Влюбленный, — почтальон перепутал адрес».

Но — нет. Почтальон ничего не перепутал. В верхнем левом углу повестки была четко выведена фамилия Влюбленного и даже стояли инициалы.

«Как же так? Я думал — это еще далеко. Может быть, даже никогда... — он прочел повестку еще раз. — «Седьмого апреля». — Влюбленный зачем-то взглянул на часы. — Половина одиннадцатого? Что же я стою? В одиннадцать она будет ждать, надо купить цветы!.. Ах да... Повестка... До седьмого — двадцать два, нет, двадцать три дня. Целых двадцать три дня! Вечность! А ее я увижу через полчаса. И мы будем вместе весь день! И завтра. И послезавтра. Да что заглядывать так далеко!»

Влюбленный сунул повестку в карман, захлопнул дверь своего дома и побежал по улице, перепрыгивая через лужи и нарочно с хрустом наступая на упавшие сосульки. Стояла оттепель.

Начальник лаборатории просматривал утреннюю почту. Почему-то сегодня было очень много приглашений. Вот — на международный конгресс, именно, лично ему. «Почетному члену Академии, начальнику лаборатории, профессору...» — ишь, как торжественно. Конгресс будет через месяц в небольшом университетском городке на берегу моря.

«Говорят, там красиво. И доклад просят сделать меня. Нет. Это отнимет слишком много времени — подготовка к докладу, поездка... Послать заместителя. А это что? Приглашенный билет на конференцию. Я им нужен для президиума. Заместителя! Он молодой, ему даже приятно будет посидеть в президиуме... Письмо. Просят ускорить отзыв на диссертацию. Вот это нужно самому, и сегодня же. Взять работу домой — задержал на десять дней. Черт знает что!.. Открытка с лохматым желтым цветком. Смешно — у одуванчика морда, как у желтой

болонки. Ага! От внука. И, конечно, опять: «Приезжай хоть на неделю, у нас уже весна. Мы пойдем с тобой в лес. Тебе нужно отдохнуть, имеешь же ты право...»

— Право... — Начальник лаборатории улыбнулся и бережно убрал открытку в карман пиджака.

«Право-то я имею... Еще четыре пригласительных билета — все ребятам, пусть ходят. И этот... Нет, это не приглашение, повестка какая-то. «Нагорная, 10».

Профессор быстро снял очки и надел их снова.

«Так... Вот, значит, какие дела...»

Он встал из-за стола и подошел к окну. На тонкой голый ветке качался воробей. Вверх-вниз.

«Листья на дереве появятся... после седьмого апреля... После...»

Воробей клюнул ветку.

«Кто же dokonчит Исследование?.. А в самом деле, сколько раз в жизни я видел, как распускаются листья? Или — как цветет одуванчик?.. А может быть, вызывают совсем не для этого? «Нагорная, 10»...»

Кто же в городе не знал, что находится в доме десять по Нагорной улице! На его дверях висела невзрачная вывеска:

## ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ

и дальше мелкими буквами:

Прем с 7 до 24 часов ежедневно.

Обеденный перерыв с 13 до 14. Вход по повесткам.

Вообще-то вывеска была не нужна. Всем в городе было известно, что в этом невысоком двухэтажном доме в самом конце улицы с незапамятных времен живет и работает Смерть. Люди не боялись Смерти, они привыкли, что она живет рядом, что ее можно встретить в магазине, на автобусной остановке, у портного. У Смерти

было в городе много знакомых, и они охотно заходили к ней выпить чаю или поиграть в преферанс. Со Смертью о ее работе никто не разговаривал — она этого терпеть не могла.

— В свободное время я хочу отдохнуть и развлечься, — говорила Смерть, — пожалуйста, не касайтесь производственных тем.

— А все-таки, как вы делаете... это? — не удержался однажды особенно любопытный гость.

Смерть пристально взглянула на него:

— Не торопитесь. В свое время узнаете.

И гость умолк, перепуганный.

Если к Смерти обращались родственники получивших повестку, она всегда отвечала так:

— Я — простой исполнитель. От меня ничего не зависит. Абсолютно ничего, вы же знаете.

Третью повестку получил Жизнелюб. Он завтракал и не услышал, как в комнату вошла жена.

— Там, в почтовом ящике, что-то лежит, — сказала она, — может быть, принести?

Жизнелюб с набитым ртом гневно затряс головой. Жена побрела было к двери, но в это время он проглотил кусок и окликнул ее:

— Постой! Иди сюда! Я бы дал тебе крылышко, но я знаю, ты не любишь есть. Насчет писем, — продолжал Жизнелюб певнятно, — я ведь уже говорил, что не терплю, когда трогают мою корреспонденцию. Это — неуважение к свободе, о которой мы условились. А что, холодно сегодня на улице?

— Сыро, — ответила жена.

— Ладно. Принеси, пожалуйста, газеты, — разрешил Жизнелюб.

Жена вышла и тут же вернулась.



— Там лежало еще вот это, — сказала она и протянула какую-то открытку.

Жизнелюб выхватил открытку у нее из рук, пробежал глазами и вскочил из-за стола.

— Что это?! — закричал он. — Почему? Где?!

— Что случилось? — испугалась жена.

— Повестка! Слышишь? Повестка — мне! — закричал Жизнелюб, мотаясь из стороны в сторону.

Жена молча смотрела на него.

— Молчишь? — простонал он. — Принесла и молчишь? Тебе хорошо! — он закрыл лицо руками и разрыдался.

— Почему?! — выкрикивал он. — Ведь это несправедливо! Почему — именно я? Вон, профессор из лаборатории, он целыми днями корпит над бумагой! Почему — не его? Почему не Влюбленного, этого дурака? Ведь он же не видит ни одной женщины, кроме своей белобрысой, зачем ему жизнь?

— Слушай, — сказала вдруг жена, — перестань плакать. Дай мне твою повестку, и я пойду вместо тебя.

— Правда? — вскинул голову Жизнелюб. — Правда пойдешь?

Жена кивнула.

— Ну что ж... — Глаза Жизнелюба блеснули, он вытер слезы. — Что ж, это правильно! Зачем тебе жизнь без меня? Ты была бы несчастна, я не могу этого допустить!

Последнюю, четвертую, повестку почтальон отдал прямо в руки адресату. Это была Одинокая Женщина. Она как раз выходила из дому, чтобы отправиться в музей на выставку деревянной скульптуры. Вообще-то Одинокая Женщина совсем не любила деревянной скульптуры. Ей гораздо больше нравилось печь пироги, шить, вязать. Она хотела бы, чтобы у нее была большая дружная семья, чтобы по вечерам все долго сидели за столом и пили чай, а за окном шумел ветер или шел снег. Но семьи

не было, и Одинокая Женщина ходила на выставки, на концерты и в кино, чтобы люди не подумали, что она живет неинтересной жизнью, и не пожалели ее.

Почтальон столкнулся с Одинокой Женщиной на лестнице. Он достал из сумки повестку и сказал:

— Мне очень жаль, но вам вызов на седьмое апреля.

Почтальону было ни капельки не жаль, он уже много раз носил такие повестки и, отдавая их, каждый раз думал:

«Слава богу — не мне!»

Выражать соболезнование он был обязан по инструкции.

Одинокая Женщина взяла повестку двумя пальцами.

— На седьмое? — сказала она. — Благодарю.

И, повернувшись спиной к оторопевшему почтальону, стала быстро подниматься по лестнице к себе в квартиру.

«Сейчас сниму это платье, — думала она, — и туфли. Выброшу билеты на завтрашний концерт. И целых двадцать три дня буду жить, как хочу. И главное, не нужно делать прическу, улыбаться, хорошо выглядеть! Не нужно больше ничего ждать и надеяться зря! Не нужно жить интересной жизнью — какое счастье!»

Сбросив туфли, Одинокая Женщина подошла к окну.

«Таает. Скоро снег сойдет совсем, на тополе раскроются почки!.. Но это будет... позже, и я не начну, как всегда, думать, что вот для всех — весна...»

Одинокая Женщина улеглась на диван и закурила.

Вы думаете, двадцать три дня — это мало?

За двадцать три дня Влюбленный две тысячи тридцать раз поцеловался со своей девушкой, десять раз поссорился с ней и двенадцать раз попросил прощения. Двадцать один раз он лег спать с мыслью «она меня любит» и проснулся, уверенный в обратном.

За двадцать три дня Начальник лаборатории закончил статью, послал положительный отзыв на диссертацию, которая не очень ему понравилась, передал дела заместителю и написал длинное письмо внуку.

А потом он заперся в кабинете и до последнего дня круглые сутки работал над заключительной главой своего Исследования.

За двадцать три дня Одинокая Женщина прочла пятнадцать книг про шпионов, вспомнила все свои ошибки и порадовалась, что никогда больше их не совершит, а жена Жизнелюба двадцать три раза сбегала на Нагорную улицу, но получила отказ.

— Идите и ждите своей очереди, — сказала ей Смерть, — по чужой повестке никто вас обслуживать не будет.

Жизнелюб тоже ходил на Нагорную, десять. Он не поверил жене, подумал, что она просто испугалась. Вернувшись, он посмотрел на жену с ненавистью:

— Ты будешь жить! Чтоб ты сдохла!

А седьмое апреля между тем наступило. Снег в городе везде уже стаял, и тротуары высохли. Небо было высоким и бледным, в скверах пахло землей, голоса на улице звучали громко, а шаги по асфальту — четко.

Без пяти семь Смерть в накрахмаленном белом халате вошла в комнату приема и принялась наводить порядок: открыла форточку, полила цветы, накормила рыбок в аквариуме. Потом достала из ящика стола список вызванных на сегодня и большой рабочий журнал. Когда стенные часы показали ровно семь, она отперла входную дверь. Держа в руках повестки, четверо шагнули в комнату.

— Проходите и садитесь. — Смерть показала на ряд

белых стульев, стоящих вдоль стены, — сейчас я начну вызывать вас по очереди, вы будете подходить сюда, к столу, и сдавать мне ценности. Кто первый? Вы? Прошу. Остальные могут пока заниматься своими делами.

— У меня нет с собой никаких вещей, — растерянно признался Влюбленный.

— Подойдите ближе, — сказала Смерть, — еще ближе. Так. Дайте-ка я вас послушаю.

Она достала из кармана стетоскоп, приложила его к груди Влюбленного, и все услышали, как стучит его сердце.

— О-о, — прошептала Одинокая Женщина, — я и не знала, что такое бывает. Пожалуйста, — попросила она у Смерти, — если можно, пусть оно бьется подольше! Да перестаньте же, наконец, чавкать! — и Одинокая Женщина толкнула локтем Жизнелюба, который сидел рядом с ней. Он держал на коленях большую корзину, вынимал оттуда один за другим бутерброды, яблоки, конфеты и, давась, ел.

— Вот видите, — Смерть убрала стетоскоп и выпрямилась. — А вы говорили, что у вас нет с собой ничего ценного. Можете сесть. Следующий.

Следующим был Начальник лаборатории. С того самого момента, как Смерть велела всем ждать своей очереди, он, не поднимая головы от блокнота, что-то быстро писал, перечеркивал и писал снова.

— Следующий!

— Его очередь! Следующий — он! — Жизнелюб тыкал пальцем профессору в плечо.

Тот поднял голову:

— Если никто не возражает, я бы хотел пойти последним. Мне нужно еще немного поработать.

— Это еще с какой же стати?! — взвился Жизнелюб. — Почему я раньше него? Может быть, за мной еще придут. Жена хлопочет!

— Можно мне? — встала Одинокая Женщина. — Только у меня совсем ничего нет, никаких ценностей.

— А мечты?

— А-а, выдумки! — протянула Одинокая Женщина. — Разве они чего-нибудь стоят?

— Разберемся. Садитесь и рассказывайте. Если стесняетесь, можно про себя.

Одинокая Женщина кивнула и, не торопясь, пошла к столу. Она опустила на стул, подперла щеку рукой и застыла надолго, лишь изредка шевеля губами. Смерть молча смотрела на нее, иногда качала головой, а один раз даже попросила:

— Еще раз, пожалуйста. Я хочу кое-что записать в мою личную тетрадку. Я много раз думала об этом и почти теми же словами.

Одинокая Женщина подняла голову и улыбнулась. Лицо ее стало вдруг красивым и молодым.

— Правда? А знаете, я ведь часто приходила к вашему дому, но все не решалась зайти. А теперь вижу, что зря — с вами так легко. Первый раз за много лет у меня хорошо на душе. Спасибо вам.

— Следующий! — позвала Смерть.

И в эту минуту профессор захлопнул свой блокнот:

— Я кончил. Все получилось. Я готов, куда нужно идти?

— Туда, к столу, — подтолкнул его Жизнелюб, торопливо обгладывая баранью косточку, — с ценностями.

— Вот, — сказал Начальник лаборатории и положил свой блокнот на стол, — здесь самое ценное, что я успел сделать.

Смерть нерешительно полистала страницы.

— Скажите, — спросила она очень мягко, — а было у вас... счастье? Личное. Любовь, например. Или, может быть, дети?

— Разумеется, было. Как у всех людей, — нетерпе-

Линво сказал Начальник лабораторий, не отрывая глаз от блокнота. — Но вы же просили — самое ценное.

Смерть вздохнула и склонилась над блокнотом. Начальник лаборатории стоял рядом и заглядывал ей через плечо.

— Ну, как? — спросил он, когда Смерть кончила читать.

— По-моему, очень хорошо. Вот только... я не очень сильна в математике.

Начальник лаборатории посмотрел на нее с жалостью.

— Математика тут — основное. Все изящество — в выводе. И вообще, как можно жить без математики? Дайте мне чистый листок, и я берусь за полчаса научить вас брать интегралы.

— К сожалению, в рабочее время я не имею права отвлекаться от своих прямых обязанностей, — сказала Смерть, — но я обещаю вам заняться математикой, а то можно попасть в очень неловкое положение.

— Ну конечно, — оживился профессор, — и дело не только в этом. Вы станете духовно богаче, шире. Знаете что: вы работайте, а я пока набросаю для вас список необходимой литературы.

— Следующий!

Жизнелюб делал вид, что не слышит. Он зачем-то копался в корзине, шуршал какими-то бумажками, не переставая при этом чавкать.

— Вы меня задерживаете! Идите и показывайте, что у вас с собой!

— Можно, — засуетился Жизнелюб, — я сбегаю за женой?

— Я спрашиваю, где ваши ценности? А корзину поставьте в угол, она вам больше не понадобится.

— Как — не понадобится? — испугался Жизнелюб и крепко прижал корзину к животу. — Сейчас придет замена. Где у вас тут телефон? Я позвоню...

— Так вам нечего мне предъявить? — спросила Смерть с раздражением. — Тогда так и скажите, и не будем терять время.

Жизнелюб кинул на Смерть быстрый взгляд и, как будто поняв что-то, заспешил к столу.

— Как это — нечего? Как — нечего? — бормотал он, роясь в карманах. — Наоборот! Это у них пустяки всякие, а у меня есть! Вот! И еще вот! — он вытаскивал из карманов смятые бумажки денег. — Что значит — нечего! Пожалуйста!

Он клал бумажки на середину стола, разглаживал ладонью, клал снова. Смерть, не отрываясь, смотрела ему в лицо.

— У меня дома еще есть, — шепотом сказал Жизнелюб, разглаживая последнюю бумажку. — Разрешите, я сбегаю. Я быстро — туда-назад!

Смерть отодвинула деньги на край стола.

— Так я и думала, — произнесла она, отмечая что-то в журнале. — Ничего. Обязательно хоть один такой, да попадется. Ну, а теперь... — И встала.

— Нет! Нет! Нет! — закричал Жизнелюб. — Не пойду! Не дамся! Делайте со мной, что хотите, только не это! Только не это!

Он упал на пол и задергался, вцепившись обеими руками в толстую ножку письменного стола.

— Да прекратите же наконец! — прикрикнула на него Смерть. — Никто ничего не собирается с вами делать.

Но Жизнелюб не поднялся, он только заполз под стол и затих там, сжимая ножку.

— А когда же? — спросил Начальник лаборатории. — По-моему, лучше не откладывать, раз уж все равно нельзя ничего изменить.

— Да. Давайте кончать, — поддержала его Одинокая Женщина, — я очень устала.

— Так все же кончено. Чего вы еще хотите? — рассмеялась Смерть.

Она взяла со стола рабочий журнал и прочла вслух: — «Седьмое апреля. Семь часов утра. Задание выполнено в полном объеме. Работа проводилась в соответствии с технологической инструкцией».

— Но как же. . . Когда? Лично я ничего не почувствовал, — растерянно произнес Влюбленный.

— А вы хотели бы, чтобы ударил гром или у ваших ног разверзлась бездна? — смеялась Смерть. — Так вы это себе представляли?

— Врет! — прошипел из-под стола Жизнелюб. — Не пойду, не надейся!

— А что теперь? Куда нам? — спросила Одинокая Женщина.

— А вон туда, — Смерть показала на большую голубую портьеру в углу комнаты. — Бойтесь? Откройте дверь и посмотрите.

Трое прошли в угол и отдернули портьеру.

— Я, пожалуй, пойду, — раздался голос Одинокой Женщины. — Мне пора.

— И мне, — это был Влюбленный.

— Прощайте. Мы ведь больше не увидимся! — Начальник лаборатории вышел последним.

Одинокая Женщина осторожно спустилась с заснеженного крыльца и двинулась по тропинке между сугробами. Тропинка бежала под гору к мостику через ручей и дальше, на холм, к самой калитке, за которой в надвинувшихся вдруг сумерках светилось окно деревянного домика. Над крышей неподвижной кошачьей спиной выгнулся дым.

Начальник лаборатории и Влюбленный шли следом.

«Сколько их тут!» — думал профессор, стараясь не ступать на одуванчики, а они так и лезли под ноги. А трава становилась все выше, и солнце светило совсем уже по-летнему.



Без четверти одиннадцать! Влюбленный бежал по асфальту. С карнизов со звоном осыпались сосульки. На углу, около автобусной остановки, продавали нарциссы. Он купил два букета.

Без четверти одиннадцать! Осколки сосуллек хрустели под ногами. Около автобусной остановки Влюбленный купил два букета белых нарциссов и спрятал под пальто. Солнце светило прямо в глаза.

Без четверти! Осталось всего пятнадцать минут! Нет, уже четырнадцать. Если бегом, можно еще подождать ее и увидеть, как она покажется в конце улицы в своем светлом пальто и голубой вязаной шапочке. Можно смотреть издали и знать, что она идет ко мне.

— Два букета, пожалуйста! Благодарю!

...Какое солнце сегодня!

Без четверти одиннадцать! Влюбленный перепрыгнул через лужу и побежал по улице, нарочно с хрустом наступая на упавшие сосульки.

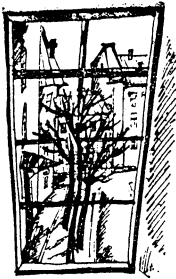
— Вы что — отпустили их? Отпустили? — в голосе Жизнелюба звучала угроза. Он вылез из-под стола и стоял теперь на четвереньках. — Им, значит, можно, а мне...

— Да идите! Кто вас держит! Давно пора, у меня через пятнадцать минут обед. — Смерть быстро убирала в стол свои бумаги.

Почему-то боясь подняться, Жизнелюб ползком добрался до середины комнаты и только тут, вскочив, бегом кинулся к двери, толкнул ее и перескочил порог.

— Тут же ничего нет! — завопил он. — Ничего-ничего! Совсем!

Но дверь уже захлопнулась.



Сергей вдруг понял: надо уходить отсюда. И не то чтобы опьянел или голова заболела, просто уж очень душно было, очень накурено, тесно от магнитофона, от лезущих в уши крикливых голосов, от необязательных во-

просов, на которые тем не менее требовались ответы, тоже необязательные, любые, какие угодно.

В передней он оборвал вешалку на чем-то пальто, выдернул из-под серой лохматой шубы свою куртку, кое-как сунул руки в рукава, а шапку надевал уже на лестнице. Эта полутемная лестница, по сравнению с тем, что осталось там, за дверью, уже казалась счастьем — гулкая, прохладная тишина стояла здесь, и он облокотился было на перила и полез в карман за сигаретой, но от только что захлопнувшейся двери исходило ощущение опасности: вдруг да откроется и дымный крик полоснет между лопаток.

Хлопнула дверь ниже этажом, и сразу раздались шаги и голоса.

— Ты же обещал, обещал! — гневно, но как-то беспомощно твердил низкий старческий голос. — Я не понимаю: ведь ты же дал честное слово. . .

— Что значит «обещал»? — нетерпеливо перебивал молодой, хриловатый. — Я что — расписку тебе давал тащиться туда на ночь глядя? Думал — смогу, а вот — не сложилось.

— Как так — «не сложилось»? Как может не сложиться, если — честное слово?!

— Ну и дела! Дал слово, так что ж теперь — стреляться, что ли? Также мне пироги. . .

— На тебя надеялись, а ты обманул...

— Надеяться следует на себя, а не на дядю. Вот так-то. А дураков надо учить. «Слово»! «Обещал»! Болтология! Тебе не пообещай — горло переешь.

— Это... это бесчестно! — выкрикнул старик, и тотчас глухо ударила дверь парадной.

На улице Сергей закурил. Голова — он так и не решил, болела она или не болела там, — сразу стала легкой, только в ушах чуть звенело.

«Не надо было шампанское, — подумал он, — от него всегда...»

Улица оказалась безлюдной. (Те двое куда-то исчезли — как сквозь землю.) И незнакомой, — сюда приехали оравой на такси и не запомнилось, как ехали, — где-то останавливались, за кем-то заезжали.

Это была унылая улица, полупустая и довольно мрачная. Впрочем, здесь, за Лиговкой, все улицы какие-то мрачные, все эти Расстанные, Тамбовские... Он попытался разглядеть название, но фонарь горел слабо, а с неба вдруг повалил такой снег, что залепил очки. Да и какая разница, не все ли равно, что ему за дело до названий!

Прохожие попадались редко, засыпанные снегом, озабоченные только одним — как бы скорее оказаться дома. Час был поздний.

Неизвестная улица вывела его в конце концов на ярко освещенную Лиговку, прямо к трамвайной остановке, на которой, отворачиваясь от снега, топтались несколько человек.

Сразу пришел трамвай, но ненужный. Почему-то он вызвал раздражение — полупустой, яркоосвещенный, такой комфортабельный и уютный среди снежной ночи, он казался неуместным, что ли, нелепым и лишним. Не успев обдумать, в чем тут дело, протерев сухим концом шарфа стекла очков, Сергей двинулся дальше, прочь от остановки, прочь от этих фонарей, и людей, и свободных так-

си. Такси тоже чем-то раздражали, хотя денег было достаточно, любое можно было остановить.

Поспешно свернул он в первую попавшуюся улицу, совсем уже темную и безлюдную. Чем-то странной казалась эта улица. Справа слепыми четырехугольниками застыли плечо в плечо неосвещенные дома. Ничего вроде бы удивительного — второй час на исходе, но вот тротуар... Что-то в нем было непривычное, и Сергей тут же понял — что: ни одного следа. И не потому, что сейчас падает снег, а давно никто не ходил, — глубокий, чистый сугроб тянется вдоль домов, точно не тротуар это вовсе, а газон какой-то. Настоящая зима стояла в городе вот уже неделю, а между тем только кончался ноябрь.

Темные дома на мгновение озарились зеленоватым светом, в простенке над низким двухэтажным зданием вспыхнули какие-то буквы и исчезли. Но — ничего таинственного, все очень просто: капитальный ремонт, вся та сторона улицы нежилая. А эта?.. Снова полыхнуло зеленое зарево. «СТРАХ» — прочитал Сергей в черном небе и усмехнулся — реклама Госстраха где-то по соседству. Почему ее на ночь не выключили?

Усмехнулся и прибавил шаг.

Ну, а эта сторона — тоже пустая? Нет, здесь жили. Кое-где в окнах еще горел свет, к парадным по снегу протоптаны были тропинки, хотя сейчас их на глазах заметало снегом.

Четкая тоненькая цепочка следов извилисто бежала вдоль пустого тротуара вперед, в темноту. Это были очень частые, маленькие следы с узкими носами и какие-то легкие — только отпечатки по снегу.

Сергей посмотрел и никого не разглядел. Желтые полосы были редкими, метель плотными клубами катилась навстречу.

Однако прошли совсем недавно. Если бы давно, замело бы следы, а они вон какие ясные. И тут совсем

близко, шагах в десяти, среди снега и тусклого света мелькнул силуэт. Узкий, нечеткий, будто размытый. Кто-то семенил, чуть скособочившись, чуть припадая на палку. Длинная юбка, белый платок... или шапка это?.. Исчезла... Там просто тьма непроглядная до следующего фонаря. Свет падал на тротуар из окон первого этажа, и снова забрезжила темная фигура.

Он шел теперь быстро, всего несколько шагов их разделяло. Это была старуха, совершенно точно, старуха, худая, сутулая, даже, пожалуй, сгорбленная. Наверное, очень старая, хотя и шла легко. Снова темнота сделала ее почти невидимой, но расстояние совсем уже сократилось, Сергей видел старуху даже там, где не было фонарей.

И куда ее несет в такую позднь, в такую темень? Ветрено, скользко... Как бы в подтверждение его мыслей старуха вдруг вздрогнула, взмахнула руками и опрокинулась навзничь.

«Этого мне только не хватало», — подумал он, но тут же шагнул вперед и склонился над старухой. Она лежала на спине, отбросив в сторону руку с зажатой в ней палкой. Маленькие глубокие глаза были открыты, губы сжаты. Сергей стоял в нерешительности, и тут губы шевельнулись, открылись.

— Ничего страшного, просто поскользнулась. Помогите мне подняться, прошу вас.

Зачем-то сперва он поднял ее на руки. Старуха казалась совсем легкой и неподвижной. Мгновение подержав ее на весу, Сергей затем осторожно поставил ее на ноги и стал стряхивать снег с длинного пальто.

— Не надо, не надо, дружок, — слабо протестовала старуха. — Благодарю вас...

Голос был приятный — старческий, но чистый и легкий. Она чуть-чуть грассировала, и оттого в речи слышался непонятный какой-то акцент.

— Вы ушиблись. Может быть — такси? — предложил

он, но старуха замахала узкой ладонью в светлой перчатке.

— Нет, нет. Боже сохрани. Этого не нужно! Да мне и идти-то пустяки.

— Тогда я провожу вас, — решил он и крепко взял ее под локоть.

Дошли они быстро. По дороге старуха молчала, сосредоточенно глядя под ноги. А метель вдруг кончилась. Редкие тонкие снежинки вспыхивали в воздухе и тут же пропадали, небо сделалось совсем черным и холодным, звезды проступили над пустыми домами. Только зеленый «СТРАХ» загорался поминутно, но не казался назойливым и ярким — глаза привыкли.

— Нам сюда. Прошу вас, — голос старухи звучал теперь торжественно и церемонно. — Прошу вас, — настойчиво повторила она.

Они стояли перед тяжелой резной дверью старинного трехэтажного особняка. Окна второго этажа, три... нет четыре окна были освещены, снег у подъезда — утоптан, от ворот на улицу вели две узкие колеи. А вон и следы лошадиных подков, совсем недавние. Редко теперь такое встретишь, забавная какая улица, забавная старуха, интересный дом.

— Благодарю вас, зайду с удовольствием, — ответил Сергей и низко поклонился. И даже вроде шаркнул ногой.

«Что это я? Точно в спектакле. Конформист...» — мелькнуло в голове. Они уже поднялись по широкой, плохо освещенной лестнице. Старуха позвонила. Хрипловатое звяканье колокольчика послышалось за дверью, потом — быстрые шаги.

— Ах, Аглая Николаевна, наконец-то! — розовая девушка в белом переднике и с кружевом на темных волосах снимала со старухи пальто.

— Помогите гостю, Наташа, — голос старухи стал низким и властным.

— Я сам, спасибо, что вы! — но Наташа уже была тут как тут, приняла куртку, шарф и шапку положила на столик возле большого зеркала. В этом зеркале Сергей увидел себя, в этом дурацком свитере и джинсах, с покрасневшим носом и растрепанными волосами. А рядом, за плечом... Нет, она не превратилась в сказочную принцессу, в молодую красавицу, хотя, наверное, он и этому бы не удивился, она осталась старухой, блестели седой волосы, морщина между бровей разрезала лоб. Но осанка! Но гордое это лицо, нос с горбинкой, прямая высокая шея!..

Старуха поймала в зеркале его взгляд и улыбнулась. Почти незаметно, только брови чуть дрогнули. Тонкой, совсем еще белой рукой поправила она волосы, сверкнула у ворота блестящая брошь.

«Платье-то. Как на картинах старых мастеров», — подумал Сергей и разозлился на себя за банальность.

Старуха опять взяла его под руку, из коридора они шагнули в комнату, и тут уж он не знал, чему удивляться, на что смотреть, что вообще думать обо всем об этом.

Слабо шевелились желтоватые язычки свечей. Человек в ливрее с галунами на цыпочках двигался от одного канделябра к другому, снимал щипцами нагар. Над креслами с расшитой обивкой, с золочеными ножками, около маленьких столиков, около громадных китайских ваз с живыми розами — голоса, звуки рояля из-за стены, какие-то фразы... по-французски, что ли... улыбки, руки в блестящих перстнях, белые чьи-то плечи, страусовые перья веера. Он вслушался. Странно — оказывается, он понимал все, что они говорили, хотя и не знал никогда французского. Совсем молоденькая девушка у окна... какая красавица!.. рассказывает лысому старичку, высовывающемуся из кресла, точно из гнезда, как она поскользнулась на уроке танцев у Жоржа и... Она смеется, и старичок, покивав острой, птичьей головкой, тут же

принимается что-то бормотать о маневрах, о каком-то курсе, о ретиреде и глупце квартирмейстере.

А другой старик — в черном фраке со звездой, к нему обращаются почтительно «ваше превосходительство» — вполголоса беседует о чем-то с молодым офицером... Постой, постой... Ну, конечно, это гусарский мундир на нем. Или — драгунский? Только и знаю, что гусар или другун! Серость. Наверное, все же гусарский, вон и усы у него, как у гусара.

— Какое, право, мальчишество! Безрассудство! — низким, взволнованным голосом говорил старик со звездой. — Имей в виду: твоя выходка может иметь самые дурные последствия.

— Я дал слово и буду там завтра, — тихо ответил юноша.

— Но зачем? Имей в виду, тебе придется оставить полк. Карьере твоей конец, ты подумал об этом?

— Я дал слово.

— Это я слышал. Ну, что ж... Ты поступил глупо, давая слово, а теперь собираешься сделать еще одну глупость. Не понимаю... Что тебе господин Добролюбов? Почему ради этого... сомнительного... литератора ты собираешься поставить под удар всю свою жизнь?

— Завтра...

— Это ты уже мне объяснил: завтра двадцать пять лет со дня его смерти. Прекрасно. Ну и что? Ты-то здесь при чем?!

— Я обещал...

— Кому?! Зачем?! Я не помню, чтобы ты так уж часто навещал могилу собственного отца, а вот на могилу этого молодого человека, где завтра соберется всякий сброд...

— Это — мои друзья, и я прошу вас не говорить так о них.

— Дело не в них, их я, слава богу, не имею чести



знать. Но ты! Ты — офицер, дворянин. Ты что, разделяешь убеждения этого Добролюбова? Сомневаюсь. Думаю даже, что ты не имеешь понятия, в чем они состоят.

— Я уважаю всякого, кто имеет хоть какие-то убеждения.

— Весьма похвально. Только стоит ли ради этого губить жизнь?

— Я дал слово, — опять повторил гусар. Впрочем, может быть, никакой он и не гусар вовсе, а только молодец парень, и лицо симпатичное, открытое и твердое, а ведь мальчишка еще совсем.

За стеной чей-то голос запел очень знакомый романс, сегодня утром Сергей его слышал по радио, но названия не помнил.

— Ах, как поет... — вздохнул маленький старичок в кресле и потянулся за шампанским — лакей застыл перед ним с подносом.

«Шампанское... Опять шампанское... Мне нельзя. А, была не была!»

В комнате стало неожиданно тихо. Сергей оглянулся. Все замерли с поднятыми бокалами.

Сергей пил маленькими глотками, пил почему-то жадно, будто горло пересохло, пил до конца, до самого дна. И выпив, не смел поднять глаз, точно сделал сейчас нечто нелепое или смешное.

— Что это с вами, мой милый? — услышал он рядом старухин голос. Она коснулась прохладной рукой его щеки. В комнате снова звучали голоса. А голова кружилась, и Сергей плохо уже понимал, кто говорит, о чем.

Он подошел к окну и отодвинул белую шелковую портьеру. На улице опять мело. Даже домов на той стороне не было видно, только снег да темнота. И вдруг — какой-то свет. Он взгляделся — будто карета в две лошади с фонарями и лакеем на запятках мелькнула мимо окон да и пропала.

Он уже ничего не пытался себе представить, не старался понять. Он почувствовал внезапно, что очень устал, что больше ничего не произойдет — и пора.

Старуха не удерживала. Она молчала, когда в коридоре он поцеловал ей руку. Только наклонилась и сухими губами прикоснулась к его лбу.

Утром ничего страшного не произошло. Голова не болела и не кружилась, во рту не сохло, сознание было ясным.

«Что же это со мной приключилось? — думал он, лежа в постели. — Сон? Или бред? Или я все-таки был здорово пьян и меня разыграли?»

С улицы в комнату светило яркое зимнее солнце.

«Ну ладно — костюмы, свечи... Все это несложно устроить. Но карета на улице? Тоже розыгрыш? Или гипноз? Встать сейчас, пойти туда и все проверить. Только куда идти? Я ведь и адреса не посмотрел, как называлась та улица — не знаю. Теперь, конечно, окажется, что ее невозможно найти, а если и найду, выяснится, что нету такого дома или в нем никто не живет. Читал я где-то похожие истории, и они всегда кончались так. Впрочем, к чему выдумывать? Надо идти и попытаться отыскать».

На мгновение стало не по себе — а стоит ли искать, что-то подсказывало, что не нужно бы. Но Сергей отогнал эту мысль.

До Лиговки он добрался на трамвае и вышел как раз на той остановке, где стоял ночью. Он сразу узнал эту остановку — рядом, в сквере, висела афиша кинотеатра, которую он заметил вчера.

Поперечные улицы были теперь другими, не мрач-

ными и вовсе не таинственными, просто унылыми... Не та улица. И эта — тоже... А тут? Разбитые грязные стекла, заколоченные двери, покрытый снегом тротуар. Здесь!

Сергей почти бежал. Прохожие оборачивались и глядели вслед почему-то с осуждением. Два раза он чуть не упал, поскользнувшись, и едва не пробежал мимо двери маленького старинного особняка. Но сердце вдруг ухнуло, поднялось к самому горлу, и он остановился.

Лестница была та же, с широкими ступенями, с причудливыми, в завитушках, перилами. И звонок прозвучал так же — колокольчиком. И так же быстро распахнулась дверь.

Наташа смотрела на него холодно и удивленно из-под тонких, нарисованных бровей. Синий тренировочный костюм был ей мал и вытянулся на коленях пузырями. Розовая косынка плохо прикрывала железные трубки бигуди.

— Вам кого, товарищ? — спрашивала она уже, наверное, в третий раз, а он стоял перед ней и молчал. Потом очнулся.

— Мне... Аглая Николаевна... дома? — спросил и даже зажмурился, сейчас она скажет с недоумением «кто?» и захлопнет дверь. Но она пропустила его в темный коридор, постучала, крикнула: «Это к вам! Наверное, из собеса», — и исчезла. Сергей вошел в комнату.

Все выглядело так же, как ночью. Те же кресла и столики, и вазы с цветами, и белые шторы на окнах. И хозяйка в глубоком кресле у окна.

— Вам что, голубчик? — Маленькие глубокие глаза смотрели издали, сухие скрюченные пальцы теребили полу ветхой, заношенной кофты. И тут же он увидел, что цветы в вазах мертвые, пыльные и сухие. Это были искус-

ственные цветы, те, что продают старухи возле кладбищенских ворот.

Из-под лопнувшей обивки стульев кое-где клоками вылезала серая вата, остатки позолоты тускло поблескивали на спинках кресел, на ножках столиков.

— Как же?.. Что же?.. — повторял он, пятясь к двери.

— Ничего, ничего! — выдохнула старуха. — Все верно...

Она встала и выпрямилась, поправила волосы, и голос ее зазвучал властно:

— А теперь ступайте.

— Простите, — сказал он совсем тихо.

Со стариком Сергей столкнулся на лестнице. Задыхаясь, останавливаясь чуть не на каждой ступеньке, «его превосходительство» поднимался, волоча сетку с какими-то кулками. Не было ни фрака, ни звезды, и невозможным казалось даже представить их под поношенным, без цвета, пальто.

— Он был там? — тихо спросил Сергей.

— Он дал слово, — ответил старик, продолжая подниматься.

...Узкая колея сворачивала по снегу к воротам, и Сергей заглянул во двор. Двор был как двор, самый обыкновенный — бачки для мусора, кривобокая скамейка в углу. А рядом — деревянные ворота-двери чьего-то гаража. Раньше здесь был, наверное, каретный сарай.

И тут в гараже вдруг заржала лошадь. Тоненько и весело, будто смеялась. И вторая ответила ей басом.

Запáдал снег. Медленно спускался он с неба и покрывал двор, и колею, и скамейку, и его опущенные плечи, и волосы (он так и не надел шапку), и эту странную улицу, где в такую погоду может привидеться все что угодно.



Ну, чего, спрашивается, он привязался? Тащится сзади вдоль тротуара, какой-то кривобокий, неуклюжий и деревенский.

Фирфаров оглянулся по сторонам и прибавил шагу, слава еще богу, никто не встретился из знакомых, ведь просто неудобно — идет человек к себе в институт на работу, а за ним — можете себе представить? — плетется какой-то настырный урод, которому место на свалке или, по крайней мере, на селе. И надо же так влипнуть — забыл вчера запереть гараж. Украсть там, правда, нечего — «Москвича» своего накануне как раз отогнал в комиссионку — получил открытку, что подошла наконец очередь на «Жигули». А утром вышел во двор, и — будьте любезны — оказывается, ворота в гараже нараспашку. И почувствовал себя Николай Павлович таким растяпой, охломоном, тюшей, а таких ощущений он просто не выносил и имел, между прочим, к тому веские основания.

Как же можно считать, например, тюшей человека, который к тридцати девяти годам достиг уровня главного инженера проекта, сумел построить себе кооператив и гараж в новом районе и вот теперь, продав «Москвич-408» (в совсем еще хорошем состоянии), покупает «Жигули»? Нет, дело тут, конечно, не в материальных ценностях, и вовсе не в них, напрасно вы думаете, что Фирфаров был каким-нибудь мещанином и барахольщиком, просто он знал, что собственным трудом завоевал право на самоуважение, и не желал, чтобы на это право кто-либо посягал.

А то, что у всех сверстников Николая Павловича име-

лись уже давно семьи и дети, а он до тридцати девяти лет дожил холостяком, так это, если вам угодно, свидетельствует только о чувстве ответственности и нежелании подбирать первое попавшееся, чтобы потом через полгода разойтись, делить квартиру, имущество и платить до конца жизни алименты.

Когда-нибудь он, конечно, женится и создаст семью, каждый человек должен иметь семью, в этом Николай Павлович не сомневался, и даже иногда представлял себе, как встретит однажды в Большом драматическом молодую и непременно очень красивую девушку, не то что расплывшиеся жены приятелей. Одним словом, когда-нибудь будет у Фирфарова семейный дом всем на зависть, но торопиться с этим он не собирался, ему и так неплохо жилось и совсем не скучно — зимой он по выходным катался на лыжах, в отпуск ездил на машине по Прибалтике, захватив с собою кого-нибудь из приятелей для компании, и, надо честно сказать, женатые эти приятели счастливы были вырваться на месяц из своего семейного рая.

Одно немного тревожило Фирфарова: в последнее время стала мучить изжога и ныло иногда под ложечкой. Мама из Мелитополя писала, что это от неправильного питания, и звала в октябре на отпуск к себе. Но до отпуска еще дожить надо, а сейчас закрутился — в июле делал сам в квартире ремонт, вообще-то и так было чисто, да подвернулись симпатичные обои и решил переклеить, теперь вот вся эта свистопляска с продажей машины, а там — новую надо брать. Брать можно бы хоть завтра, очередь подошла, но желательно непременно в экспортном исполнении, а такие будут только в сентябре, в конце квартала, то есть через месяц. Так что насчет поездки в Мелитополь было не решено, а чтобы не получить гастрит, Фирфаров установил себе порядок по четным числам обедать в молочном кафе «Аврора» на Невском, а в остальные дни варил кашу «геркулес», и

очень вкусно получалось, не хуже, чем, например, у жены Леньки Букина, у которой все вечно пригорает.

Итак, Николай Павлович Фирфаров стоял, растерянный, около своей парадной и рылся в кошельке, который назывался портмоне. Найдя там ключи с брелоком в виде обнаженной женщины из Парижа, он побежал было к гаражу бегом, но представил себе, как глупо выглядит, если посмотреть на него с какого угодно этажа их кооперативного дома, и зашагал вполне достойно — не то чтобы медленно, но и не торопясь.

Украдено ничего не было. Целы оказались и домкрат, и запаска, но посреди гаража — какая нелепость! — стояла, тарыхтя мотором, эта деревенщина с грязными колесами и надписью на ободранном лбу — «Беларусь». Стояла, уставившись включенными среди ясного утра фарами ему прямо в лицо.

— Этт-то что? Кто здесь? — строго спросил Фирфаров. — Выведите ваш агрегат, тут вам не МТС!

Конечно же, какой-то нахал увидел, что не заперто, и загнал спяну сюда на ночь свой трактор, это у нас так всегда — только не запри дверь, сразу явится кто-нибудь без приглашения, и доказывайте, что вы не верблюд.

И откуда трактор в городе? А впрочем, мало ли откуда — со стройки, да хоть из совхоза. А водитель, естественно, дрыхнет с похмельюги где-нибудь тут же, в доме, у родственников: приехал «к сестры».

— Глупость... нахальство... — бормотал Фирфаров, оглядывая двор в поисках хулигана тракториста, спешащего на место преступления, но обнаружил не его, а с неудовольствием увидел своего бывшего одноклассника, ныне водопроводчика, Григория Болотина, оказавшегося, как назло, и в новом доме соседом Николая Павловича.

— Ну, ты, Коля, даешь! Накопил и машину купил? Чудо техники — «мерседес-бенц»! — заржал Болотин, по-

дойдя и заметив пыхтящий трактор. Ржать Болотин умел с самого детства, при этом он разевал свою пасть так, что она делалась больше всей его малопривлекательной физиономии. Сейчас Болотин хохотал особенно противно, загородив пастью весь двор. Зрелище, прямо скажем, весьма неприятное, и Фирфаров даже отвернулся — у него самого полость рта всегда была в полном порядке.

А Болотин прямо трясся от глупого смеха, и вместе с ним клокотал от возбуждения неизвестно чей трактор в фирфаровском личном гараже.

А между тем во дворе начала собираться толпа: дворничиха Полина с вечно багровыми щеками, полуинтеллигентный владелец старого «Запорожца»-броневика и, самое неприятное, два жигулиста в заграничных замшевых куртках. Вчера еще импортные жигулисты на этом вот самом месте беседовали с Фирфаровым о машинах, завидовали, что у него гараж во дворе рядом с домом, хороший был разговор, на равных, а теперь что? А теперь стоит Фирфаров посреди двора как дурак, как посмешище, а рядом эта керосинка, иди доказывай, что не твоя. Доказать, конечно, можно и даже нетрудно, но все равно уже попал в глупое положение, теперь до скончания века будут говорить: «А-а, это тот, у которого в гараже — помните? — трактор нашли!»

Нет. Такие инциденты надо прекращать немедленно.

— Убирайтесь вон! Да поживее, слышите? — в отчаянии приказал Фирфаров трактору, и тот, послушно постукивая мотором, сразу выкатился из гаража. На дворе он выглядел еще уродливее и неуместней: непомерно высокие задние колеса и маленькие передние, облезлая краска... Фирфаров, не глядя на трактор, тщательно запер гараж, убрал ключи в портмоне, повернулся и зашагал к воротам, на всякий случай иронически улыбнувшись жигулистам, и даже пробормотал что-то вроде «бывает же!».



Жигулисты не слышали, зато услышал Болотин и зарчал:

— Бывают в жизни огорченья, когда вместо хлеба ешь печенье!

За спиной Фирфарова опять раздалось его ржание, но это было бы ладно, плохо другое: мотор окаянного трактора учащенно и озабоченно затарахтел, что-то горячее пахнуло в спину, потянуло бензином. Так и есть! Он тащился сзади, этот железный урод!

— А придуривал, что не его! — надрывался Болотин.

До автобусной остановки всего два квартала. Фирфаров прошел их за обычные пять минут, но время-то было потеряно на гараж, и автобус восемь три уже ушел, следующий будет минут через семь и набитый, может не открыться. Так вот и на работу опоздаешь из-за ерунды. Никогда не опаздывал, и, главное, было бы из-за чего! Надо что-то предпринимать.

А трактор подполз к остановке и встал впритык к тротуару. Оглянувшись еще раз по сторонам, Фирфаров влез в безобразную кабину, тотчас же мотор восторженно заревел, затрясся от старательности, и трактор зашкандыбал по мостовой, нахально втираясь между легковыми машинами.

Вообще-то ехать было даже интересно: не нужно опускать пяточок, толкаться, передавать чужие, грязные монеты, не нужно уступать место толстым, якобы тяжело больным гипертонией старухам, которые всегда нарочно положат тебе свой живот на колени, или хныкающим деткам, тем, что вполне могли бы и постоять, но мама уговаривает: «Садись, Алик, садись, дядя уступит».

Откуда этот сумасшедший трактор узнал дорогу? Они добрались до института на десять минут раньше, чем Фирфаров приезжал обычно. Правда, к самой проходной Фирфаров трактор не подпустил — оставил за два дома,

выскочил, и опять никого вроде знакомого не было, никто не заметил, короче, обошлось.

Возвращался с работы Николай Павлович, конечно, на автобусе и всю дорогу, сидя у открытого окна, слышал сзади пыхтение и лязг — нахальная машина, громокая, шла следом.

«Завтра выйду из дому пораньше и поеду в метро. Не ползет же он под землю. Нечего приучать», — решил Фирфаров.

Но назавтра он проспал, потому что сломался будильник, а когда выскочил в семь минут девятого из дома, началась такая гроза, что конец бы финскому костюму, но у самой фирфаровской парадной, растопырив, точно крылья, свои железные двери, топтался вчерашний трактор. Фары его преданно сияли сквозь дождь, как глаза неврастеника, мотор гремел, будто военный оркестр. Дождь тоже грохотал прилично, и, быстро оглядевшись, Фирфаров прыгнул в кабину. А вообще-то в такой ливень никто не станет разглядывать — кто там в тракторе да зачем.

Пока они ехали до института, дождь кончился, но фанатик ни за что не хотел выпустить Фирфарова до самой проходной. А тут, как нарочно, с той стороны улицы прямо к ним направлялась Зоя Николаевна Прозорова, дама из бухгалтерии, самая любопытная и болтливая особа во всем институте.

Фирфаров жиманул на тормоз, но трактор сделал вид, что не слышит. Зоя Николаевна была уже в пяти шагах.

— Слушай, ты! — тихо, но грозно произнес Фирфаров. — Немедленно остановись! Совершенно невоспитанный жлоб! Это тебе не зябь, понимаешь ли... ворошить и не это... окучивать. Ставьте чеаэка в дурацкое положение!

Когда Фирфаров волновался, то вместо «человек» произносил «чеаэк», что, кстати, давно, еще в юности,

в старом доме на Петроградской, заметил Гришка Болотин и дразнил Николая Павловича гнусными вариациями этого слова.

На трактор речь Фирфарова произвела сильное впечатление, он разом встал, точно споткнувшись, и Фирфаров выскочил на тротуар навстречу Прозоровой, которая, подойдя, тоже его заметила и подняла было тонкие накрашенные брови, но Фирфаров предупредил ее неуместный вопрос.

— Техника на грани фантастики! — сказал он, кивнув на трактор. — Труженик полей. Хотел вот взглянуть, как у этих динозавров переключаются скорости.

И, подхватив Зою Николаевну под локоть, Фирфаров повел ее к проходной, рассказывая по дороге содержание статьи в журнале «Советский экран», которую ему вчера давал почитать Букин.

Неделю ездил Фирфаров на работу на «козле» — так он про себя называл трактор, — и очень все удачно складывалось: ни разу никого не встретили, Николай Павлович сэкономил двадцать пять копеек — конечно, ерунда, а все-таки тоже деньги, — билет в кино на дневной сеанс или батон за двадцать две и три коробка спичек. С работы ездить он считал неудобным: выходит из института вместе с подчиненными, и очень было бы солидно забраться в кабину «козла» у всех на глазах.

А «козел» всегда упрямо ждал конца рабочего дня, ошивался за углом или напротив института на пустыре и тасился за автобусом как приклеенный.

И дождался-таки своего: в четверг Фирфарова задержал директор, он вышел на сорок минут позже обычного и вспомнил, что на сегодня намечено кафе «Аврора», что ночью мучила изжога, а в кафе этом подлом, чуть опоздаешь, настоишься в очереди и простокваши уже не достанется. Посмотрел Фирфаров налево, направо и сел на «козла». Путешествие прошло вполне благо-

получно, только на Невском засвистел милиционер, но хитрый трактор, высадив хозяина, тотчас же влез в какой-то двор и отсиделся там, пока свистки не стихли, а потом выкатился опять на мостовую с таким видом, будто он тут работает, производит капитальный ремонт зданий. Словом, довез-таки «козел» Фирфарова до «Авры», и тот сразу нашел место и заказал свой любимый молочный суп-лапшу.

А в воскресенье они съездили на Сытный рынок и привезли десять килограммов картошки — запас на месяц. На рынок — рассудил Фирфаров — вполне естественно ездить на тракторах, и верно рассудил: нахальный «козел» въехал прямо в ворота базара и, расшугав бабок, торгующих вязаными шапками анилинового цвета, покатил между рядами. Чуть не раздавив очередь, которая тотчас разбежалась, он высадил Фирфарова у прилавка как раз того мужика, чей товар был самым крупным и чистым, а потом стоял, загородив Николая Павловича от вернувшейся разозленной очереди, для острастки ее разведя дымовую завесу из выхлопных газов. А Фирфаров тем временем наполнял свою сетку отборным картофелем.

Ночевал трактор во дворе, в противоположном от фирфаровского гаража углу, около навеса для мусорных бачков, так что даже сам Болотин не смог бы теперь ничего заподозрить. Впрочем, Болотина Фирфаров не встречал уже целую неделю, жигулисты же опять здоровались с ним как со своим человеком, и даже раз они втроем обсудили положение в Кувейте. Дело в том, что один из владельцев «Жигулей» побывал недавно в этой стране транзитом и успел, не выходя из здания аэропорта, сделать множество интересных наблюдений, из которых на Фирфарова самое большое впечатление произвели серебряный слон величиной с овчарку, продававшийся в киоске «Сувениры» на доллары, а также местные женщины легкого поведения, запросто разгуливающие среди пасса-

жиров в белоснежных нарядах, вроде туник, но с разрезом на боку от подмышки до полу.

— И красотки же все — обалденные, — рассказывал жигулист.

— У них конкуренция там, — веско предположил Фирфаров, и все согласились, что да, конкуренция, а что же — среди всех профессий в капстранах она имеется, и среди этой тоже.

Так они беседовали во дворе, серьезные мужики, дымили «Союз-Аполлоном», даже Николай Павлович закурил для такого случая, а трактор в это время стоял в своем углу с молчащим мотором и выключенными фарами — спал.

Но через два дня все-таки разразился скандал.

Только Фирфаров, отдохнув после обеда, уселся с журналом «Наука и жизнь» в кресло, как в дверь позвонили. Звонок был противный, так звонила только Полина-дворничиха. Некогда он первый и единственный раз в жизни вовремя не заплатил за квартиру, и она тут же явилась скандалить и звонила таким же вот визгливым бесконечным звонком. Фирфаров открыл дверь. Конечно же, это была она, вся багровая, — не то кирнула, не то от злости.

— Сейчас уберу безобразие, не то штраф в двадцать четыре часа! — проорала дворничиха и, повернувшись, стала злобно спускаться по лестнице, а Фирфаров побежал за ней. Так они и выскочили во двор — Николай Павлович в пижамных штанах и выкрикивающая бессмысленные угрозы дворничиха.

Посреди двора зияла пасть Болотина.

— Говорил я — его этот драндулет, — заквакал Болотин, увидев Фирфарова и показывая на забившийся в угол трактор. — Скажешь — нет? Ты! Че-е-ек с одной большо-ой буквы!

Стоило Фирфарову показаться во дворе, как трактор радостно засиял фарами и затарахтел.

— Вот! Вот так и ка́ждо утро! А меня-то мучают, меня-то терзают: кто это лю́дям спать не дает? Убирай бандуру, а то завтра в товарищеский суд! — завизжала Полина.

— Да при чем же здесь я, товарищи, — нарочно очень тихо и спокойно сказал Фирфаров и повернулся к трактору спиной. — Смейтесь, что ли? Я «Жигули» покупаю, все знают...

Но трактор, этот идиот, металлолом чертов, выполз из угла, развел пары и остановился рядом с Фирфаровым. Тут Фирфаров увидел одного из жигулистов. Усмехаясь, тот шел прямо к нему через двор, а подойдя, сказал, не вынимая рук из карманов своей пижонской куртки:

— У вас же есть гараж, коллега. Поставьте свой транспорт туда, и инцидент исчерпан.

— Исперчен! — загоготал Болотин. — Удавится — не поставит!

И Фирфаров не выдержал. Щеки его побелели, подбородок задрожал. Не помня себя, он изо всех сил пнул железную подножку и больно ушиб ногу. От боли и от обиды слезы подступили к его горлу, и он закричал тонким голосом:

— Что это такое в самом деле?! Что вы пристали к чеаэку! Не мой это транспорт! Не мой! Не знаю — чей! И знать не хочу! Он посторонний, посторонний!

И вдруг во дворе стало темно.

Погасли фары, замолчал мотор. В полной тишине трактор двинулся к воротам, беспомощно рыская в темноте, два раза наткнулся на стену, но все-таки нашел дорогу и выкатился на улицу, будто кто-то толкал его сзади в спину.

— Как же... — забормотал Болотин, — куда это он, на ночь глядя? Эй, друг! Стой, слышь!

— Он же слепой, пропадет! — вдруг закричала дворничиха и побежала в подворотню.

Пожав плечами, Фирфаров медленно вышел за ней, игнорируя Болотина.

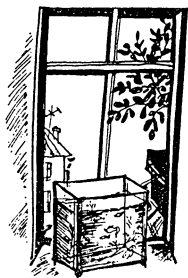
Трактор был уже довольно далеко. Приседая на правое колесо, он ковылял прямо на красный свет, кургузый и нелепый рядом со сверкающими легковыми машинами и важными автобусами. На мгновение туристский «Икарус» заслонил его, а когда проехал, трактора было уже не видно совсем.

Во дворе Фирфарова нагнала зареванная Полина.

— Зараза! — яростно сказала она и плюнула ему под ноги. — Наставили в кооперативном дворе гаражей! Все часткову скажу! За квартиру никогда не плотишь... тоже еще... чеазк!..

Фирфаров хотел было поставить обнаглевшую дворничиху на место, но что толку связываться с полуграмотной бабой!

Мокрый холодный ветер дунул из подворотни, и он вдруг вспомнил, что завтра-то уже осень, первое сентября. Фирфаров постоял еще немного у ворот, поежился и пошел домой.



## БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ

За ночь город стал другим. Это было похоже на возвращение. Через много лет, пустых и одинаковых, с длинными ожиданиями, ненужными разговорами, одинокими тусклыми вечерами, она вернулась вдруг на улицы, оставшиеся где-то далеко, в ранней юности, может быть, в детстве. На улицы, почти уже забытые и вот в это утро снова явившиеся вместе с солнцем, разбивающимся о стеклянные лбы трамваев; вместе

с «классами», неровно начерченными на тротуаре и называемыми — ну, конечно же, господи, как она могла забыть! — «скачок».

Спрятали глаза и стали совсем незаметными ненужные сегодня «Булочная», «Рыба — овощи», какой-то непонятный «Гортранс». Зато розовая кукла в витрине игрушечной мастерской — подвальчика так и выглядывала, так и тянула к стеклу свои растопыренные руки.

А как улыбались, как все понимали мудрые, добрые собаки, вышагивающие на поводках рядом с хозяевами и дружелюбно покачивающие хвостами!

По реке плыла елка. Одним боком она вмерзла в льдину, с другой стороны торчали темные, голые ребра. Елка была похожа на акулий скелет. И на одном из ребер — синий шар, сверкающий, синий новогодний шар.

Девушка остановилась и проводила льдину глазами. Блестя на солнце, шар уплывал по реке в океан.

А что же случилось? Куда девался вчерашний город? Куда девались вчерашняя жизнь и она сама — вчерашняя?

Накануне вечером она зашла в комиссионный магазин, чтобы примерить парик. Говорят, в париках даже самые некрасивые девушки становятся похожими на кинозвезд.

Парики грудой лежали на прилавке — огненно-рыжие, белокурые, черные, седые.

«Примерю этот», — решила девушка и, оглянувшись, стала натягивать парик с длинной светлой челкой.

«Похожа на Иванушку-дурачка!» — она сняла белокурый парик и надела другой, с черными кудрями.

«А теперь — вылитая баба-яга! Нет, тут уж, видно, ничем не поможешь».

Девушка сдернула парик, чуть не разорвав его попо-



лам, и подошла к продавцу. Облокотившись на прилавок, он читал какую-то толстую книгу.

— Что бы вы мне посоветовали купить в подарок... сестре, которая хочет хорошо выглядеть? — спросила девушка.

Вместо ответа продавец вдруг громко захохотал, затряс головой и, не отрывая глаз от книги, начал шарить в карманах. Найдя там носовой платок, он вытер им лоб и продолжал читать.

— Скажите, — девушка тронула продавца за локоть, — что у вас в этом свертке?

Продавец перевернул страницу и с недоумением взглянул на девушку.

— В каком свертке? В этом? Безответная любовь.

— Вы... шутите?

— Никогда не шучу на работе. И вообще не шучу, — он подвинул к себе книгу и снова принялся хохотать.

Девушка ждала. Когда хохот прекратился, она спросила:

— А счастливой у вас случайно не найдется?

Продавец оторвался от книги и несколько секунд молча рассматривал девушку.

— Случайно — не найдется, — медленно произнес он, — а на вашем месте я бы взял эту, тоже на дороге не валяется.

— А можно ее посмотреть? — она потянулась к свертку.

— Трогать и примерять не разрешается! Или берете — или нет, — и продавец снова уткнулся в книгу.

— Беру, — сказала девушка. — Сколько нужно платить?

Безответную любовь продал в комиссионном магазине сосед девушки, молодой человек, который жил с ней на одной лестничной площадке. Он мучился своей любовью

почти целый год, похудел, перестал спать по ночам, потерял друзей.

— Хватит! — сказал он себе однажды утром. — Надо наконец начать жить, как нормальный человек. От этой проклятой любви — только бессонница. Лучше я продам ее, а взамен куплю себе. . . ну, хоть аквариум с золотыми рыбками. А летом поеду в отпуск к морю!

Она забыла уже, зачем так рано вышла сегодня на улицу. Может быть, из-за солнца? Оно светило прямо в окно, и это было совершенно необъяснимо — окно выходило на север.

Чудеса продолжались. Деревья голыми ветками писали по небу непонятные строчки, шофер такси, едущего навстречу, смеялся красному светофору, синий шар уплывал на льдине к неизвестным островам, а навстречу ей, от арки ворот, шел ее сосед.

— Доброе утро, — сказал сосед.

— Доброе утро, — ответила девушка, но вдруг задохнулась и почувствовала такую боль в груди, что ей пришлось даже остановиться.

У соседа было необыкновенное лицо. У него были такие глубокие, такие умные, такие необыкновенные глаза.

«Наверное, он очень застенчивый человек, — думала девушка, поднимаясь по лестнице, — он так быстро всегда здороваётся и сразу уходит. И потом. . . Он живет совсем один, кто же готовит ему обед и убирает в квартире?»

Ночью ей не спалось. Ипогда она забывалась на несколько минут, но тут же вздрагивала и открывала глаза.

«Что случилось? Ведь что-то случилось, но что? . . . Сперва я купила. . . да, да. . . потом было это утро, и он шел мне навстречу».

Она вставала с постели и ходила босиком по комнате, прижав руки к груди.

Рано утром девушка побежала в магазин и купила молоко, творог и сыр.

«Что особенного?» — говорила она себе, подбирая с пола около кассы деньги, сыпавшиеся у нее из рук.

«Что особенного? — повторяла она, нажимая на звонок соседней квартиры и прислушиваясь. — Почему я не могу помочь человеку — ведь мы же соседи».

Дверь открылась. Он стоял на пороге и с недоумением смотрел на девушку.

— Вот... — пробормотала она, — возьмите. Я все равно ходила. Заодно...

— Спасибо, — произнес молодой человек растерянно, — я даже не понимаю... Впрочем, конечно же — большое спасибо! Подождите, я сейчас. — Он скрылся за дверью, вернулся с кошельком и, аккуратно отсчитав деньги, протянул их девушке.

Раньше время казалось ей пустой огромной комнатой, где только изредка попадаются какие-то предметы, да и то — ненужные. Теперь каждая минута была заполнена. То стихами — сколько, оказывается, прекрасных стихов написали поэты, и все, ну почти все стихи — про него. И романсы, и песни, и даже героические симфонии — все, все про него.

А еще она узнала, что, оказывается, очень любит футбол и хоккей. Это выяснилось однажды вечером, когда из-за стены соседней квартиры послышался голос спортивного комментатора. Она включила телевизор и с тех пор не пропускала ни одного репортажа.

«Наверное, он болеет за этих, в темных футболках. Они очень хорошо играют, вон, как быстро побежал тот, высокий, — думала девушка. — И два маленьких, толстых, тоже симпатичные. А может, он болеет за светлых? Они так стараются, хоть им и не везет!.. Какое небо за окном, совсем летнее! Как он сегодня сказал мне: «При-

вет!» — и побежал вниз через три ступеньки. Почему считается, что безответная любовь — несчастная? Я почти каждый день встречаю его или вижу из окна. Я могу думать о нем, сколько хочу».

Наступил июль, и молодой человек собрался в отпуск к морю.

В день отъезда, выйдя с чемоданом на улицу, где уже стояло такси, он вспомнил вдруг про свой аквариум.

«Кто же будет кормить рыбок?» — подумал он и, секунду помедлив, снова взбежал по лестнице и позвонил в квартиру соседки. Никто не вышел на звонок, и тогда, вырвав листок из записной книжки, молодой человек написал короткую записку, в которой просил девушку раз в день заходить к нему и бросать рыбам корм. Записку вместе с ключом он опустил в ее почтовый ящик.

Целый месяц каждое утро девушка на цыпочках входила в пустую квартиру. Сперва она только кормила рыбок, потом, заметив, что на столе и на корешках книг накопилось много пыли, стала убирать комнату, открывать форточку, подметать пол. Чтобы было уютнее, она принесла из дому цветы в горшках и расставила их на подоконниках. Каждый день она вынимала из почтового ящика газеты и складывала стопкой на шкафу.

«Сколько у него книг! Как много газет он получает, — думала девушка. — Какой он умный и образованный!»

Однажды, возвращаясь вечером с работы, она увидела в окнах соседней квартиры свет. Бегом поднялась она по лестнице и, задохнувшись, остановилась на площадке.

«Нужно сейчас же вернуть ему ключ... Нет, пусть придет сам. Отдохнет с дороги, разложит вещи и придет».

В дверь позвонили часа через полтора. Сперва она никак не могла справиться с замком — руки не хотели слушаться. Молодой человек стоял на пороге, загорелый и улыбающийся. В руках он держал аквариум.

— Это — вам! — заявил он, входя. — И — большущее спасибо, квартиру просто не узнать!

Девушка молчала. Молодой человек шагнул в комнату и поставил аквариум на обеденный стол.

— Когда я сегодня утром вошел к себе, — продолжал он, смеясь, — я даже испугался сперва, думал — ошибся дверью. Вы и не представляете себе, что сделали для меня. Вы помогли мне принять одно очень важное решение.

— Какое? — тихо спросила девушка.

— Понимаете, там, на Юге, я познакомился с одной женщиной. И вот... одним словом, сегодня я понял, что без хозяйки дом — не дом. Я сразу пошел к ней... Что с вами?

— Ничего, — сказала девушка и опустилась на стул, — я рада за вас. Вы ее очень любите?

— Люблю? Не знаю. Эта игра уже не для меня. Просто нельзя ведь прожить всю жизнь одному.

— А она? Она любит вас? Она счастлива?

— Она — хороший человек. Одинокий. Ей нужен дом. Разве этого мало? А любовь — вещь очень обременительная. Она только разрушает душу, а взамен оставляет горечь и невыполненные обязательства. Конечно, у вас все еще впереди, и дай бог вам счастливой любви, ну, а не получится... Не получится, так лучше уж устроить свою жизнь, как полагается, чем не спать ночей из-за какого-нибудь шалопаю... А рыбок — возьмите!

Девушка встала.

— Спасибо, — сказала она и погладила стеклянный бок аквариума, — пусть живут у меня, я уже привыкла к ним. И — поздравляю вас.

Обхватив аквариум обеими руками и прижавшись к нему лицом, девушка плакала. Слезы бежали по ее щекам и сползали по стеклу, точно дождь. Рыбы, сбившись в стаю, неподвижно стояли в воде, повернувшись мордами к лицу девушки.

— Не надо мне никакой любви! — всхлипывала она. — Он прав! Завтра же пойду в тот магазин, пусть забирают обратно!

Продавец узнал ее сразу.

— А-а, это вы? Принесли назад?

Не отвечая, девушка бросила безответную любовь на прилавок.

— Нет, нет, — продавец отодвинул сверток, — она слишком долго пробыла у вас, теперь у нее больше пятидесяти процентов износа.

— Что там такое? Может быть, мне подойдет? — раздался из глубины магазина знакомый голос, и девушка вздрогнула.

— Вам не подойдет, — посмотрите лучше на полке слева, там есть два прекрасных бронзовых канделябра, — ответил продавец и опять повернулся к девушке. — Молодой человек ищет свадебный подарок, — объяснил он.

Молодой человек продолжал возиться в полутьме за прилавком, а она вдруг заметила на стуле у стены его портфель, знакомый портфель с ручкой, обмотанной изоляционной лентой.

Продавец тем временем открыл книгу, лежащую рядом с ним на прилавке. Лицо его сразу стало грустным, углы рта повисли. Он читал, шевеля губами, вздыхая, иногда сокрушенно тряс головой.

Зажав безответную любовь в кулаке, девушка боком подвинулась к портфелю, протянула руку, но не достала и сделала еще шаг. Теперь портфель был у нее за спиной.

Какой-то странный звук напугал девушку — обустив лицо в ладони, продавец всхлипывал. Не оборачиваясь, она нащупала застежку портфеля, одним пальцем надавила на замок и, приоткрыв портфель, мгновенно опустила туда сверток с любовью.

Плечи продавца вздрагивали. Из глубины магазина доносились шорохи и какое-то позвякивание. Крадучись, она вышла за дверь.

Она бежала по улице прочь от магазина. Бежать было легко — тело стало невесомым, как воздушный шар.

Бежать было легко, но глухой, неприятный звук, нарастая, раздавался откуда-то сзади, шел по пятам, приближался, а оборачиваться, она это знала, было нельзя. И обернулась. Сосед настигал ее странными, неестественными прыжками, заносящими его то вправо, то влево.

«Какое у него... безобразное лицо, — подумала девушка, продолжая бежать, — как искривился рот, а глаза пустые и неподвижные!»

Случайно взглянув в стекло витрины, она поймала в нем свое отражение и испугалась еще больше:

«Я похожа на него! У меня такие же глаза без выражения!»

Топот за спиной слышался уже совсем близко. Девушка бросилась за угол, в узкий незнакомый переулок, но, пробежав всего несколько шагов, внезапно остановилась. В конце переулочка качал головой продавец. Он грозил ей пальцем. Он смотрел на нее пустыми неподвижными глазами. И такие же глаза уставились на нее из окон домов, из-за тюлевых занавесок, из-за толстых портьер, из-за марлевых задергушек.

Рыбы медленно шевелили плавниками и не двигались с места. Глаза их застыли. По стеклу аквариума протянулась узкая дорожка. Пробило полночь. Потом час. Потом два. Девушка все сидела, обняв аквариум. За окном прогремел трамвай.

Продавец узнал ее сразу.

— А-а, это вы? Принесли назад?

— Нет, — сказала девушка, — я только хотела узнать: счастливая любовь не поступила в продажу?

Продавец покачал головой, погрозил зачем-то пальцем и улыбнулся:

— Такой хорошенькой девушке незачем покупать себе любви! — заявил он и захлопнул толстую книгу, лежавшую на прилавке. — Кстати, а что вы делаете сегодня вечером?

— Я не знаю, — устало ответила девушка, — мне нужно купить свадебный подарок. Может быть, у вас...

— Канделябры? — перебил ее продавец. — Ну конечно! Есть два прекрасных бронзовых канделябра. Я сейчас принесу.



## ПЕРВАЯ НОЧЬ

Как же, заснешь теперь, черта с два! До утра промаешься, прокрутишься, а потом целый день — с большой головой. Это надо ведь, приснится же такое!

В комнате была ночь. Будильник на стуле громко выплевывал отслужившие секунды, желтоватая полоска просвечивала между краями занавесок, значит, фонарь около дома еще горел. В открытую форточку ворвался лязг пустого трамвая, хлопнула внизу дверь парадной, и тотчас раздался гулкий басовитый лай — волкодава из пятого номера повели на прогулку.

...Что ему снилось, Кравцов в точности припомнить не мог, но что-то определенно жуткое. Вроде бы его



помощник, этот охломон Потапкин, вместе с мастером Фейгиным собрались его, старшего обжигальщика Кравцова Павла Ильича, загрузить во вторую периодическую печь, поскольку на участке, видите ли, до конца смены не хватило товара, то есть кирпича. А в печке, между прочим — уж кто-кто, а Кравцов знал, сегодня на термопару смотрел, и не раз, — температура тысяча четыреста градусов Цельсия.

И главное, лежит Кравцов на рольганге и знает, что сейчас закатят в печь, а сделать — ну ничего не может: ни ногой, ни рукой не двинуть, помер, что ли? И до того стало ему обидно, что вот — как захотят, так они сейчас с ним и распорядятся, до того страшно, что заорал он, завыл во всю мочь, и сперва не было звука, а потом провало, точно лопнула какая-то пленка, и от рева своего Кравцов, задыхаясь, проснулся.

... Собака внизу опять залаяла, аж зашлась от злобы.

«Носят черти по ночам с кабысдохом, — подумал Кравцов, — маются люди дурью, натащили полон город зверья и держат в квартирах для собственного удовольствия, для забавы. Огромные псы, назначенные природой для охраны складов или жизни в степи при стадах, томятся в клетушках, валяются по диванам, ведь вот запретили им в сады, так они — ночью...»

Сердце постепенно унялось. Кравцов снова лег, поджал ноги и приготовился заснуть, но не получалось. Картина давешнего сна стояла перед глазами, вылезали всякие мысли насчет несправедливости: и верно ведь, живые, что захотят, то и делают над мертвыми, а какое право, может, те и не желают. Раньше были всякие завещания, последняя воля, а сейчас? Дураку ясно — не каждый усопший, кого волокут в крематорий, давал при жизни на это свое согласие. А теперь, когда ему, бедняге, слова уже не вымолвить, близкие родственники, обливаясь слезами, отправляют его в огонь. Хотя, если подумать, кладбище — тоже не сахар...

Он понял, что никакого сна не выйдет, и стал уже трезво вспоминать нудный вчерашний день, который и послужил, теперь понятно, поводом для ночной чертовщины.

Вчерашний день, воскресенье как раз накануне отпуска, Павел Ильич Кравцов, кочегар-обжигальщик термического цеха, провел на кладбище — ездил на могилу жены, — и там ему очень не понравилось. Кладбище это, несмотря на лето, траву и цветы, выглядело на редкость уныло и страшновато. Без души. Хотя — уныло, тут, вроде бы, понятно — что веселого может быть на кладбище? — однако Павел Ильич отлично помнил, что на деревенском погосте, где под синим, выкрашенным масляной краской крестом уже сорок лет лежала его мать, вовсе не было уныло. Грустно — это да, и мысли всякие в голову приходили, спокойные мысли, неторопливые и важные, а уныния или уж, тем более, страха — не было.

Там, на сельском этом кладбище, взобравшемся на сухой холм в километре от деревни, стояли молчаливые и строгие березы, кусты малины разрослись у ворот, в начале лета вспыхивали одуванчики, а осенью вылезали на песчаных дорожках никому не нужные маслята. От подножья холма далеко, до самого леса, лежало ржаное поле, узкая и прямая дорога к опушке, где виднелась деревня, разрезала его, как пробор в волосах. Летали над полем и над березами, медленно взмахивая крыльями, разные птицы, и верилось, что мертвым тут спокойно. И было не страшно, когда подумаешь, что вот и самому придется так лежать. Не то что здесь, среди одинаковых казенных памятников, сделанных из какого-то шлакобетонного материала.

Нет, он, Кравцов, на такое не согласен.

Видал он, правда, сегодня одно старинное надгробие, не похожее на стандартные эти памятники. Большой замшелый камень лежал среди высокой травы в стороне от

дорожки, а на камне — ни имени, ни фамилии, ни дат рождения и смерти. Всего три слова: «Вотъ и всё».

То, что собственную его жену, Анну Ивановну Кравцову, скончавшуюся три месяца назад, похоронили там, куда он сам-то не хотел, это Павла Ильича не очень расстраивало: во-первых, его лично вины тут не было, все решал не он, а женаина сестра, вздорная старуха, а во-вторых, Анне Ивановне, при ее характере и способности на все быть согласной, наверняка без разницы было, где лежать.

Странно это, и признавать неловко, но смерть жены не причинила Кравцову того горя, которое нужно испытывать в таких случаях. Тридцать лет прожили, а вот померла, а он хоть бы что: ест, пьет, на работу ходит в термический цех, теперь вот отпуск взял — и никакой такой особенной тоски, уезжал ведь он каждый год один то в деревню, то в дом отдыха, и никогда от отсутствия рядом жены никакого неудобства не испытывал, но сейчас-то совсем другое дело... Притворяться Павел Ильич не умел, и родные объясняли себе и другим внешнее его спокойствие и даже равнодушие шоком и болезнью — о смерти жены Кравцов узнал, сам лежа в больнице, и не сразу, а через восемь дней после похорон. Говорили, что пройдет неделя-другая или даже месяц, и он очнется, затоскует от одиночества, и тогда — беда. Но вот уже три месяца прошло, а никакого одиночества и горя не получалось. Павел Ильич сам удивлялся своему бездушию, раздумывал, почему это так выходит, и понять не мог. Внезапная и неожиданная кончина жены казалась ему случайностью, дурацкой ошибкой, и он чуть ли не саму Анну Ивановну готов был обвинить в том, что не сумела без него дать смерти надлежащий отпор, как никогда никому его дать не умела. Смерть-то, ясное дело, в тот день приходила за ним и, не застав дома, прихватила старуху просто со зла. Павел Ильич лежал в тот момент в больнице Эрисмана, как раз с подозрением на

инсульт, состояние — средней тяжести, а тут супруга его, никогда на сосуды и вообще ни на какие хвори не жаловавшаяся, ни с того ни с сего помирает именно от кровоизлияния в мозг, помирает в тот момент, когда собирает сумку, чтобы нести ему передачу в больницу, так и находит ее через час соседка Антонина — лежащей на полу посреди опрокинутых банок и раскатившихся яблок.

Получалось, будто безответная и бестолковая — грех говорить, но против правды не пойдешь — бестолковая! — Анна Ивановна как бы прикрыла Кравцова от пули противника. Это она уж обязательно бы так сказала, если бы, например, он, Павел Ильич, помер вместо нее, любила выдумывать и болтать ерунду, хотя вообще говорила мало — боялась его. Но уж если скажет, так что-нибудь выдающееся. Кстати, не так задолго до смерти вдруг объявила, что, когда помрет, превратится в какое-нибудь дерево, потому что часто видит во сне деревья с высоты, и близкое небо, и птиц, которые ее не боятся. Что до птиц, то, правду сказать, они ее и так не боялись, особенно синицы и воробьи — вечно толклись на карнизе у окна, клевали от пуза пшено и хлебные крошки.

...Опять забухал под окном соседский кобелина, и из сада напротив тотчас ответил тонкий тявк — наверняка та, рыжая, коротконогая и толстая ничья дворняга, которую вот уже год выкармливали пенсионеры из окрестных домов. Анна Ивановна, покойница, разумеется, и тут была в первых рядах: собирала в коробку из-под ботинок какие-то кости, огрызки, недоеденную кашу и носила.

Нет, не дадут заснуть, до утра будут собак пасти! Павел Ильич снова сел на кровати, спустил ноги, нашарил тапки, поднялся и побрел закрыть форточку. Фонарь уже погасили, а может, он и не горел вовсе, к чему теперь фонари — светло.

Белая, как ее называют, а на самом деле сероватого цвета прозрачная ночь текла мимо окна вдоль ули-

цы, текла издалека, от Ладожского озера, от Невы, бесшумно омывая тихие, с погасшими окнами дома Петроградской, сонные головы деревьев в саду напротив, цветущие кусты сирени, беззащитный автомобиль, одиноко брошенный на мостовой. Текла эта светлая легкая ночь к островам, к заливу, а где-то за восточной окраиной, за безлюдными, оточенными улицами центра, за горами новостроек уже назревало новое утро.

Худая кошка, воровато поводя хребтом, перебегала пустую улицу к саду, на охоту за птицами шла, хищная тварь. Мелкие каблучки процокали по тротуару, вскинулся где-то короткий гудок буксира — тащит небось баржу или большой пароход, время такое, когда разводят мосты на Неве. Дунул ветер, и дерево в саду напротив махнуло Кравцову корявой веткой: «Ложись, мол, спать, нечего тут...»

...Теперь он лежал на спине и опять с самого начала внимательно вспоминал весь вчерашний день. После кладбища он ехал от Парголова в просторной электричке. Ехал, смотрел в окно, пока на Удельной не подседа к нему грузная и неопрятная старуха в синем рабочем халате поверх летнего платья в горох, в толстых, несмотря на жаркий день, коричневых рейтузах, зимних носках и разношенных мужских полуботинках. Кравцов заметил эту старуху, когда она еще шла по проходу, выискивая место, неуклюжая и какая-то неустойчивая, как будто кто-то нахлобучил кое-как верхнюю половину ее туловища на нижнюю. Мест в вагоне было сколько угодно, но уселась она, как нарочно, рядом с Павлом Ильичом и тотчас заговорила тягучим и громким голосом:

— Наташка Козырева, сука, встала, умылась, расчесалась, а ей уж на тарелке яичницу подают. Яичницу! А моя дочка мучается, как макаронина белая, звонит: мама, я ночевать сегодня не приду. А той — яичницу. Встала, расчесалась...

Кравцов поднялся и вышел в тамбур. Можно было и на Ланской сойти, даже лучше. А потом — трамваем.

...Что было дальше? Пил пиво у ларька, минут двадцать в очереди отстоял, а куда торопиться? Купил хлеба в булочной без продавца. Вот и все дела. Вечером еще посмотрел газету, включил телевизор — показывали какую-то симфонию, а по второй программе — постановку, кончалась уже. Павел Ильич телевизор выключил и решил лечь спать, по ящику этому редко что хорошее бывает, кроме программы «Время» и футбол-хоккея. Анна Ивановна, та еще всегда глядела «В мире животных» — детские игрушки.

Так и прошло воскресенье. Завтра — первый день отпуска.

...Что он вчера за весь день сказал-то? «Один до Парголова и обратно» да еще — «Одну большую». Это когда пиво пил.

Зато в прошлый отпуск болтовни было сколько хочешь. По графику Кравцов гулял в феврале, взял в завкоме бесплатную путевку на две недели в дом отдыха в Зеленогорск, жил там в двухместной палате с одним пенсионером, который мог рассуждать, рта не закрывая, с утра до самой ночи, и каждый раз, о чем бы ни начал, первые его слова были «моя полемика такая».

— Моя полемика такая, — говорил он за завтраком подавальщице, наливая себе из чуть теплого чайника кофе, — я всегда предпочитаю знать, что я ем и что я пью, чтобы иметь возможность своевременно обратиться к врачу. Вот я вас, девушка, и спрашиваю: как называется этот напиток — отвар из желудей или бульон от мытья посуды?

Подавальщица дергала плечом и отходила, нервно толкая вдоль столов тележку, заставленную тарелками с кашей, а Павел Ильич справедливости ради возражал этому... постой, да как же его звали?.. что за бесплатно

можно и желудевого кофе попить. Но старик упрямо талдычил свое:

— Моя полемика такая: говорю, что думаю, не могу молчать, если вижу безобразие, а тут — безобразие, воруя кому не лень, ты посмотри, какие они сумки вечером домой тащат! Все — хоть повар, хоть судомойка!

После завтрака они с Кравцовым обязательно шли в вестибюль и выстаивали длинную очередь за газетами. Павел Ильич, как дома выписывал, так и тут всегда покупал «Ленинградскую правду». А Полемика набирал целый ворох — и «Известия», и «Неделю», если была, а больше всего предпочитал «Литературку».

— Правильно пишут, — внушал он Кравцову вечером после ужина, — средё надо оберегать. Вот, — он тыкал пальцем в газетный лист, — опять, смотри, отравили реку, сгубили рыбу. И что? Начальству — выговор, а завод заплатил штраф. Государство, значит, наказали. Нет, моя полемика такая: за безобразие бить рублем. Каждого по личному карману, не по государственному. Чтобы заинтересованность была и ответственность. Чтобы болели за дело, а не так. Моя полемика...

Кравцов соглашался с ним уже сквозь сон, но потом отключался, а старик еще долго небось проводил свою политинформацию. Он вообще-то ничего, неглупый был старик, хотя и болтун... Да как же, в самом деле, его звали, черт возьми? Через справочную свободно можно было бы найти, поговорили бы...

Старик... Кравцов поерзал, перевернул подушку, ставшую какой-то жилистой, и подумал, что и сам-то он, по правде, старик — пятьдесят девять, через год можно на пенсию, только кто его пустит из цеха, да он и сам не пойдет, что одному дома делать? Анна Ивановна, покойница, та вот несколько не скучала на пенсии, выдумывала себе всякие дела, иногда довольно глупые: тогда, прошлый год, когда собирала его в Зеленогорск, целыми днями бегала по магазинам. И выбегала, дурища:

рубашка финская, нейлоновая, галстук — польский, кофта шерстяная, называется «полувер» — вообще черт-те чья. Вещи, безусловно, хорошие, как говорят, даже шикарные, но ему-то они на что? Два раза надеть в доме отдыха, в кино...

Кравцов тогда отругал жену, что говорить, крепко отругал, до слез. Она все повторяла:

— Я же — чтоб ты не хуже людей, там ведь всякие будут, и инженерá, а ты еще интересный, молодой...

Заладила: «интересный» да «молодой», все тридцать лет она ему это пела, и, честно сказать, Кравцов ей верил, хоть и надоели ему эти похвалы, а все же и сам привык считать, что не хуже других, интересный там не интересный, а видный мужчина, и Anne Ивановне с замужеством, конечно, повезло — сама-то красавицей никогда не выглядела, даже одеться прилично и то не умела.

Вот уже три месяца никто к нему не пристаёт с такими разговорами, и как раз сегодня, то есть это уже вчера, утром, когда брился, посмотрел в зеркало и подумал: а ведь старый мужик, ну, пускай не старый, а все равно пожилой, жизнь не обманешь — раз положено через год на пенсию, значит, есть за что. Вон и волосы стали редкие, щеки в красных прожилках...

...Странная она все-таки была женщина. Иной раз могла час сидеть и смотреть, как Кравцов, к примеру, читает газету. Поглядишь на нее — отвернется, отведешь глаза — опять. Павла Ильича такое поведение всегда злило. Спрашивал не раз: «Ты чего?» — а она: «Ничего, просто так. Думаю». Думает! Что она там может думать? А один раз выпалила: «Это, говорит, я тобой люблюсь». Ну что тут скажешь! «Любуюсь»! Ненормальность и все... Нет, она неплохая была женщина, а это, глупости разные, это, наверное, смолоду, от воспитания, да и наследственность, как говорят, играет большую роль — у нее мать из поповской семьи...

...Вот с этими деревьями она как раз тогда и выду-



мала — что стáнет, мол, деревом после смерти, — когда приезжала навестить Кравцова в Зеленогорск. Приехала, натащила продуктов, как будто он тут на голодном острове, хотел выругать, да решил не портить настроение, повел показывать территорию. Погода стояла морозная, деревья все заиндевели, и вот, помнится, на берегу залива — береза... может, и не береза, короче, какое-то дерево. Ветки в инее, блестят, Анна Ивановна встала перед этой березой, подняла голову, руки на животе сложила и молчит. А потом и высказалась.

День был тогда голубой и белый...

А сегодня ночь — ну ни черта не двигалась! Окно он закрыл зря: в комнате стало душно. Сколько всего успел вспомнить и передумать, а посмотрел на будильник — только сорок минут прошло. На улице, правда, как будто стемнело.

...Он ведь ей тогда так прямо и отрезал: «Ненормальная ты, Анна, жизнь отжила, а дура дурой»... Может, и не надо было ее там хоронить, на этом квадратно-гнездовом кладбище? А с другой стороны, что он мог сделать? Кто его спросил? Он ведь в больнице тогда лежал.

Вовсе нечем сделалось дышать, и Павел Ильич поднялся. Встал, прошел босиком по полу, подумал, что надо бы вымыть и натереть, пора приучаться — вдовец, распахнул настежь окно и отметил, что стекла тоже грязные. Можно бы, конечно, попросить Антонину, соседку, помыла бы за рубль, да с ней только свяжись. Из-за этой скверной бабы несчастную Анну Ивановну позапрошлый год чуть в товарищеский суд не потянули. А дело было такое: Антонина тогда только к ним переехала, по обмену. Это у нее уже третий обмен был, скандалила везде с жильцами, даже, говорят, в милицию на нее жалоба была. С Анной Ивановной она начала собачиться с первого дня. Из-за всего — из-за уборки, из-за плиты, из-за раковины. А ругаться с Анной Ива-

новой радости никакой: подождет губы и молчит, так Антонина прямо из себя выходила: «Считаешь, — орет, — ниже достоинства мне отвечать? Культурную строишь?» — и разное другое. А потом ей, видать, это надоело, так она перелаялась с соседкой из квартиры напротив, та была баба с зубами, и у них это дело быстрым ходом до драки дошло. Короче, в один, как говорят, прекрасный день — Кравцов как раз был дома после ночной смены — заявила к ним целая делегация активисток из домоуправления с коллективным письмом, чтобы принять к Антонине меры вплоть до выселения. Под письмом стояло подписей уже штук пятьдесят, и Кравцов, само собой, без слова тоже расписался, даже читать не стал, что там написано. А Анна Ивановна, тихоня, взяла письмо в руки, изучала его чуть ли не полчаса, подписи зачем-то рассматривала, а потом ни с того ни с сего как приметя рвать на клочки. Активистки и «мама» сказать не успели, как она все изорвала и обрывки кинула в мусоропровод — дело было на кухне. Кравцов даже обалдел, а Сягаева, пенсионерка из домового комитета, говорит:

— Это просто хулиганство! Причем немотивированное. И неуважение к людям: пятьдесят человек поставили свои подписи, а вы рвете. Вы что же, считаете себя умней других?

Анна Ивановна ничего ей не ответила, поджала губы и — в комнату, пришлось Кравцову за нее отдуваться, но это было уже без толку — активистки ушли, грохнув дверь, и пообещали, что напишут на Анну Ивановну в товарищеский суд за антиобщественное поведение.

Когда, заперев за ними, Кравцов отправился к жене и, стараясь сдерживаться, по возможности спокойно спросил, не сбрендил ли она окончательно, Анна Ивановна сказала, что обязана была уничтожить это заявление, потому что у Антонины — уже третий обмен и ее в самом деле могли бы выселить, что характер у нее,

конечно, хуже некуда, но это, дескать, жизнь виновата, так как у Антонины не было никогда семьи и личного счастья, что злом зла не переломишь, а товарищеского суда она, Анна Ивановна, не боится. Вообще, откуда что взялось: произнесла целую речь, и Кравцов от нее отступился, ввязываться в склоку он тоже не больно хотел. С Антониной тогда так и обошлось — видно, не стали активистки собирать подписи по второму разу, но про выходку Анны Ивановны ей от кого-то стало известно.

— Тоже мне еще добродетельница нашлась! — заявила она в тот же вечер. — Хочешь для всех хорошей быть? А мне не надо! Я на твое благородство плевать хочу! — пнула табуретку и ушла, но вести себя с того дня стала тише.

...Окно он и сам вымоет, не без рук...

На улице стемнело, откуда-то взялся ветер, в саду шумели деревья. Теперь уже все в городе спали, те, конечно, кто в ночь не работает, дома стояли строгие и казались плоскими, как на фотокарточке. Кравцов вдруг решил, что пойдет гулять, — все равно сна не дозовешься. А чего, в самом деле, отлеживать бока в духоте, завтра рано не вставать. Прикрыл окно, чтобы не побил ветром стекла, оделся и, стараясь не топтать, а то Антонина утром устроит, вышел на лестницу, спустился и оказался на совершенно пустой улице.

Пока он там одевался да выходил, ветер пропал, деревья опять стояли спокойно. Узкая дорожка тянулась вдоль забора, опоясывала сад, а по сторонам дорожки стояли липы, старые, густые, так что тут, под ними, настоящая была ночь — ветки сходились над головой, как крыша.

Кравцов медленно ступал по дорожке, стараясь глубоко вдыхать прохладный воздух, — наберешься кислорода, может и удастся пару часов поспать.

Разные деревенские запахи наплывали на дорожку полосами: то — покоса, то — сирени, то — пересохшей

земли из-под кустов. Что-то зашуршало навёрху в листьях, сперва еле слышно, потом все громче, на лоб упала капля, еще одна — начинался дождь, вот почему стемнело. Теперь капли сыпались уже часто, колотили по листьям, пробивались насквозь, мочили волосы и рубашку. Павел Ильич сошел с дорожки, шагнул под самое большое дерево, обжег ногу — носки лень было надеть — о крапиву, и боль от ожога была почему-то, как в детстве.

Дождь обвалом рушился на дорожку, хлестал по траве, земля под деревьями темнела, и только у того ствола, возле которого укрылся Павел Ильич, было сухо. Он переступил с ноги на ногу и задел нечаянно ствол ладонью. Ствол был шершавый и теплый. И казалось, немного дрожал.

А дождь вдруг внезапно прекратился — видно, туча была маленькая и вся вылилась разом, как ковшик. Стало тихо, свежо, посветлело. Можно было выходить.

Неизвестно для чего Кравцов похлопал дерево по стволу и переступил через мокрую траву прямо на дорожку. Уже далеко, у самой калитки, он обернулся — почудилось, будто кто-то, не мигая, смотрит в спину. В аллее, конечно, никого не было и быть не могло, капало с листьев, небо розовело между ветками. Большое дерево, под которым он спасался от дождя, отсюда хорошо было видно.

Кравцов потоптался у калитки, поглядел на дерево и пошел через улицу домой. И все казалось — смотрит кто-то из сада.

Они стояли на горе, высоко поднявшейся над занесенным снегом сосновым лесом, над белым ровным полем, где с осени заблудился да так и застрял черный, худой, с торчащими ребрами трактор. Они стояли молча, по колено в сугробе, опустив головы и зачем-то скинув шапки, — пятеро мужиков: Потапкин, мастер Фейгин Борис

Залманович, хозяин нижнего пса Анатолий, какой-то незнакомый военный в длинной шинели со споротыми погонами и Кравцов.

Медленно падал с неба крупный снег и таял на щеках Кравцова. Теплые струйки шекотно стекали за шиворот.

— ...Значит, я и говорю: вечное оно. Всегда было, всегда будет, — негромко говорил военный, обводя глазами белые поля, и сиротливый трактор, и далекий лес. — Россия это, ребята, такая моя полемика...

Кравцов вздрогнул, услышав знакомый голос, рванулся, но мужики все куда-то делись. Прямо перед ним на горе стояло дерево, старое, с раскидистыми узловатыми ветками. Ствол дрожал, как живой, и Кравцов, увязая в снегу, шагнул к дереву, изо всей силы обхватил его обеими руками, припал, приник лицом и почувствовал, что кора сделалась мягкой, горячей и влажной.

...Изо всех сил сжимает Павел Ильич обеими руками мокрую свою подушку в давно не стиранной наволочке, плечи его вздрагивают во сне. Седьмой час утра. В комнате давно уже солнце, высвечивает пыль в углах, блестит на стеклах двух портретов обжигальщика Кравцова — снят в разное время для заводской доски Почета, Анна Ивановна все его фотокарточки собирала и развешивала.

Семь часов.

В коридоре громко топает соседка Антонина — торопится на работу. Под окном утренним басом гавкает отоспавшийся волкодав. По пустой фанерке на карнизе недоуменно скачет воробей. За оградой сада расправляет просохшие ветки большое старое дерево, смотрит поверх других деревьев через улицу, на дом, где теперь уже спокойно, без снов, спит, обняв подушку, Павел Ильич Кравцов.



В большой полынье справа от моста с достоинством плавали дикие утки. Со знанием дела они вылавливали из воды хлеб, который поступал туда в изрядном количестве с набережной, где собралась толпа. По краям полыньи мрачно сидели грязные голуби.

На той стороне, над деревьями Летнего сада, висел самолет. Двухплоскостной, допотопный, он почти не двигался и выглядел нелепо. Не вполне обыкновенным можно было считать этот неподвижный самолет, и присутствие в центре города диких уток, и, пожалуй, румяную старуху в тренировочных штанах и ослепительно оранжевой куртке, лихо съезжающую с моста на гоночном велосипеде, и себя самого, слоняющегося в рабочее время по улицам. Все было странно, неправильно, сулило какие-то события. Что-то, казалось Мокшину, сегодня обязательно должно произойти. Может быть — начаться. Или, напротив, кончиться. Или просто повернуть в самом неожиданном, невозможном направлении.

Такие предчувствия уже бывали у него раньше и почти никогда не обманывали. Воскресным летним утром десять лет назад он неизвестно с чего вдруг ощутил необходимость встать ни свет ни заря и выйти из дому. А выйдя, устремиться не куда-нибудь, а на Московский вокзал, где радио играло «Гимн великому городу» и на трех языках сообщало о прибытии московского экспресса.

Стоя в то утро у входа на платформу, Мокшин с одобрением наблюдал, как подкатила «Стрела» и как, обходя носильщиков с их тележками, по перрону неторопливо и надменно проследовали солидные мужчины в

Элегантных костюмах и с большими портфелями. Одна-ко «Стрела» здесь оказалась ни при чем: в мятой толпе, вывалившейся из прибывшего на крайний путь довольно замурзанного поезда, Мокшин увидел незнакомую женщину. А увидев, не раздумывая, подошел к ней. И эта женщина была Варвара.

Миновав мост, Мокшин двигался теперь по набережной Фонтанки. Справа от него все еще по колено вязнул в снегу Летний сад, впереди вставало здание Инженерного замка, и, как всегда, казалось, будто оно освещено закатным солнцем, хотя солнца не было и в помине.

Ощущение надвигающихся событий, заставившее Олега Николаевича Мокшина внезапно покинуть свое рабочее место и при этом солгать, да, да, наврать подчиненным, что он должен немедленно посетить патентную библиотеку, находящуюся в Инженерном замке, это тревожное, но и праздничное ощущение нахлынуло с новой остротой. Он прибавил шагу и миновал Инженерный замок. По Фонтанке медленно двигались шершавые льдины, похожие на куски асфальта. На одной из льдин лежал веник, чуть поодаль — черная кожаная перчатка. Рядом аккуратно стояла бутылка из-под вермута.

Выйдя на Литейный, Мокшин увидел довольно странного типа в совершенно мокрой, хотя дождя не было, фетровой шляпе с обвисшими полями. Разглядеть его лицо оказалось невозможным — торчал только сизый объемистый нос, все остальное было скрыто: лоб — полями упомянутой шляпы, надвинутой на глаза, а подбородок и рот — грязным свалывшимся шарфом. Человек стоял в безразличной позе, развязно прислонясь к стене дома неподалеку от букинистического магазина. Когда Мокшин с ним поравнялся, он, не проронив ни слова, шагнул наперерез, отвернул обтрепанную полу длиннющего пальто, и Олег Николаевич увидел обложку и заголовок: «Какъ воспитать въ себѣ силу духа».

Предчувствие и на этот раз не обмануло Мокшина: поздно ночью он чуть не попал под трамвай.

Возвращаясь в третьем часу от Варвары, он пересекал совершенно пустой Литейный, и тут из-за угла, от цирка, вылетел этот трамвай, вылетел, гремя на повороте, и помчался как бешеный к Невскому. Олег Николаевич еле успел отскочить и долго стоял с колотящимся сердцем, слушая удаляющийся лязг. Отдышавшись, он понял, что трамвай был очень странный: во-первых, совершенно темный, во-вторых, движение его почему-то напоминало бегство. В-третьих, заднее стекло его было зачем-то крест-накрест заклеено полосками бумаги. Точно во время войны.

Долго еще потом, шагая по тротуару, поднимаясь к себе на четвертый этаж, выслушивая упреки матери, лежа в постели перед тем как заснуть, Мокшин мысленно видел этот трамвай, колесящий, будто в паническом страхе, по спящему городу.

Линия жизни уродливо коротка, обрывается почти на середине ладони, так что, если относиться к этой процедуре всерьез, то, поскольку сегодня Ларисе Николаевне под тридцать, — какие уж тут прогнозы и надежды на счастливое будущее? Но, с другой стороны, как шарахнуть ей в лицо, что никакой новой любви отнюдь не предвидится, и не почему-либо, а просто отчетливо вырисовывается нечто более значительное и мрачное? Причем, похоже, в самое ближайшее время, через месяц, через неделю, завтра. И вообще, как это она ухитрилась дожить с такой линией до сегодняшнего дня? Но женщины, все до единой, даже те, которые изображают из себя интеллектуалок, верят этой чепухе безоговорочно. Так что



пришлось Мокшину льстиво восхищаться удивительным «бугром Венеры», мямлить про глубину линии ума и даже про большие способности к... торговле.

Лариса ушла обиженная, она какие-то дополнительные надежды явно возлагала на этот сеанс, а Мокшин с облегчением принялся за чертеж тарного цеха, выполненный конструктором третьей категории Майей Зотовой. Обычно Майя делала работу так, что во избежание строгого выговора для себя лично Мокшину, ее непосредственному начальнику, приходилось изучать чертеж чуть не в лупу, чтобы углядеть и исправить все ошибки, изобретательно и прихотливо разбросанные ею в самых неожиданных местах. Вот и тут... Нет, сегодня же дать ей втык и пригрозить депремированием! Вот, полюбуйтесь, еще! А здесь... ну, здесь ерунда, мелочь: не проставлены размеры. А тут размеры, наоборот, есть: изнутри склад, оказывается, больше, чем снаружи. Гнать. Ах, какие пустяки, я напутала, Олег Николаевич. А-а, напутали, ну тогда-то что, тогда другое дело. Так. И тут наврала...

Олег поднял голову: в дверь входила она. Собственной персоной, на высоких каблуках и с лицом трепетным и лучистым. Майя Ивановна Зотова. Явилась.

— Олег Николаевич, — жалобным, как всегда, голоском сказала Майя, — вы не принесли? Вы обещали.

Что такое? Ах, да. У нее что-то с сыном, кажется — Павликом, все время болит живот... М-да...

— Записывайте: кора крушины — одна столовая ложка. Записали?

— ...Ложка.

— Так. Кукурузное рыльце — столовая ложка, теперь корень валерианы — ложка с четвертью. Все смешать, залить тремя стаканами кипящей воды...

— Три стакана?

— Три. Накрыть крышкой и кипятить в течение два-

дцати минут. Но непременно под крышкой. Запишите, это важно.

— Ага, Олег Николаевич.

— Затем охладить и дать настояться. Двенадцать часов. После чего процедить через марлю и пить по столовой ложке три раза в день.

— Все?

А вот теперь не мешало бы поговорить о чертеже. Павлик — это конечно, никто не спорит, но все же...

Газельи глаза смотрели на Мокшина с преданностью и обожанием.

— Огромное, огромное спасибо. А — до еды или после?

— Там не сказано. Наверно, все равно.

— Огромное спасибо, Олег Николаевич, вы такой... человечный. Так я пойду?

...Нет, не будем мы сейчас говорить о чертеже, нет в этом смысла. Работать эта дурочка все равно не будет: не сможет. Ей бы не конструктором быть, а... ну, кем? Торговать цветами. Гвоздики и пионы, гиацинты. Левкои... Нет. Проторгуется и сядет в тюрьму за растрату. Тяжелый случай... Зачем это бабы лезут в технику?..

— Идите, Майя.

Ошибки... Успею — исправлю сам, а нет... В конце концов, найти ошибки должен уметь и начальник отдела, даже бездарный. Незаменимых в этом увлекательном деле нет. А вот в той дурацкой миссии, которую добровольно взял на себя он, пока всего лишь руководитель группы, Мокшин Олег Николаевич, в этой миссии его не заменит никто... Господи, ведь как им важно, всем этим зачуханным, битым жизнью глупым бабешкам, чтобы кто-то всерьез поговорил с ними об их делах, научил, как жить, дал рецепт травы от желудка, разъяснил, какие они загадочные, темпераментные, глубокие, поэтические, героические, пообещал, что, несмотря на бесчисленные разочарования в прошлом, впереди Великая Лю-

бовь и Большое Человеческое Счастье. И чтобы обещано все это было не просто так, «от балды», а на строго научной основе: по линиям руки или значению снов, или по гороскопу, или кофейной гуще, почерку, чертам божественным лица. Может быть, и не всегда они верят предсказаниям и следуют советам, как, например, похудеть и стать молодой и спортивной, но все же у них появляется стимул, а это уже кое-что в нашей жизни.

Вот теперь вслед за Майей явилась Алевтина Яковлевна Зленко — копировщица. Пришла по поводу лошадей.

Лошади эти, вздрагивая сытыми задами и отгоняя хвостами мух, паслись якобы на какой-то неизвестной поляне, и было их, по мнению Зленко, целое стадо.

— Табун, — уточнил Мокшин.

— А хоть и табун! Хоть бы и отара! Хоть целый полк! Мне без разницы. Лошади, лошади и лошади. И все ржут.

Честно сказать, Мокшин терпеть не мог этой дамы, которая имела обыкновение начать с просьбы, а закончить чем-нибудь вроде: «Все сидят, дурью маются, а мне листов накидали, не продохнуть», и надо бы сказать ей, чтобы отправлялась на свое рабочее место и перестала морочить голову. Вчера она, видите ли, усмотрела во сне какие-то лестницы (что значит — лезть), а сегодня вот — лошадей. Но Мокшин знал: если он ей не ответит, Зленко разойдется и облает кого-нибудь из беззащитных, вон хоть Зотову, и все оставшееся рабочее время та будет рыдать, а эта яриться.

— Лошади — вообще-то нехорошо: означают ложь, — сказал он.

— Опрэ-де-лен-но! — с каким-то ликованием закричала Зленко. — Именно ложь. Несомненно! Ладно. Все врет, мерзавец, меня не проведешь, шестым чувством вижу! Ну, теперь поглядим. . .

Она отшвырнула стул, полоснув по нему взглядом,

точно именно он обманул ее особенно гнусно и жестоко, и громко удалилась, каблуками вбивая в сознание Мокшина свой сон о лошадях. И тут зазвонил телефон.

— Олег Николаевич? — бархатно осведомился мужской голос. — Гурьев беспокоит, из отдела кадров. Олег Николаевич, дружище, тут, понимаете, какое дело... тут... — непривычно мялся Гурьев.

«Вот и этому что-то нужно... «дружище!»» — усмехнулся Мокшин и произнес:

— Слушаю, слушаю вас.

— Я насчет сына.. сын тут...

— Какой сын? — не понял Мокшин.

— Да мой! Мой оболтус! Познакомился с девицей. Позавчера познакомились, а сегодня нам с супругой — «женюсь». Собачья чушь, девятнадцать лет дураку! Мы уж и так, и так — мол, подожди, проверь чувство, — куда! И слушать не желает: будете вмешиваться, брошу институт, завербуюсь на Север. И ведь сделает, к чертям собачьим. Моя ревет, ведь только им и живем, все для поганца. В общем, голова кругом, надо какое-то решение... Это не телефонный разговор, но, Олег Николаевич, выручайте, на вас надежда.

...Так. А чертеж тарного цеха? Ну, сотруднички. Ладно бы женщины, но этот... А он, пожалуй, и с самим директором так не разговаривает, голос аж дрожит...

— ...Мы ведь в глаза ее не видали, девицу эту. Я тут принес записку, она вчера оставила ему в почтовом ящике...

— Заходите, — согласился Мокшин.

Судя по почерку, девица обладала на редкость скандальным характером, была вдобавок лжива и неряшлива и, как нарочно, еще имела железную волю. Все это Мокшин скупно, но точно изложил несчастному отцу, но — сами понимаете, лично он, Олег Николаевич, за эти сведения ответственности не несет, он попытался всего лишь произвести графологический анализ. Вы просили — я про-

извел, но, конечно, этого недостаточно в таком деле, как выбор невест.

— Какая там ответственность! Да ты нас выручил... Да я его... Это же телок, понимаешь? А у той — воля... Окрутила. Эх-ма... Спасибо, спасибо за сигнал, я теперь твой должник и... м-м... поклонник таланта. Да. Еще и неряха! Да моя просто умрет, это же в доме пойдет такая собачья дрызготня...

Удрученный Гурьев вышел, а Мокшин придвинул к себе чертеж.

В буфет Олег Николаевич обычно ходил после всех, в самом конце официального обеда, так же поступил он и сегодня, но и это не помогло: пришлось давать консультацию по, будь он проклят, гороскопу. Рыхлую тетку из бухгалтерии сам бог велел послать подальше, чтобы не подстерегала человека у дверей, а дала спокойно поесть, но она смотрела на Мокшина с таким робким восторгом... и, давась сарделькой, он объяснил ей, что если верить всякой ерунде, то раз день ее рождения в конце июня, значит, родилась она под созвездием Рака, а такие женщины бывают либо героинями, либо истеричками. Довольная, поскольку подтвердились ее догадки, она проблеяла Мокшину, что, ерунда не ерунда, а он, Олег Николаевич, самый проницательный человек в коллективе, отсюда и такой авторитет, заслуженный, поверьте, авторитет. После этого она навалилась на пирожки, очевидно готовясь к какому-нибудь героическому подвигу, а проницательный Мокшин, не допив кофе, отправился к себе на рабочее место.

Приближалась встреча с новым начальником, с товарищем Жуковым Владимиром Анатольевичем, вчера еще почти приятелем, отнюдь не хватавшим ниоткуда никаких звезд, а сегодня вот, пожалуйста, руководителем отдела.

Конечно, особенной трагедии в том, что назначили Жукова, а не его, Мокшин не видел. Радость невелика:

отвечай за весь отдел, за каждый лист, за каждую цифру — это раз, все вопросы, связанные с графиком отпусков, с повышениями, бюллетенями, опозданиями, — это два, а еще премии, колхоз... И обязательно ведь кто-то будет недоволен. Начальник, как известно, всегда злодей, а Мокшину вовсе не улыбалось ходить в злодеях.

Но сто шансов из ста, что, если бы начальники выбирались общим голосованием, О. Н. Мокшин прошел бы единогласно: не зря же в шуточных анкетах, ежегодно заполняемых по случаю Женского дня представительницами прекрасного пола, его вот уже четыре года подряд неизменно называли «мистером ГПИ — 76, 77, 78»... И с мужиками отношения тоже всегда складывались как нельзя лучше. Ни одного врага, это уж точно. Все это, конечно, непосредственно к повышению не относится, но что касается деловой репутации, то тут уже давно и неколебимо: «Способный инженер, прекрасно ладит с людьми, а вперед не лезет, что и ценно».

За последнюю неделю, лишь только пронесся слух о назначении Жукова, к Мокшину один за другим подходили самые разные люди, чтобы выразить свое возмущение недальновидностью высшего начальства.

Нет, завидовать Жукову — никакого смысла. Ровно никакого.

4

В четыре часа состоялся разговор: «Давайте продумаем вместе план работы». — «Хорошо». — «Ну и великолепно, подготовьте ваши предложения. А это (взгляд на чертеж тарного цеха) возьмите, поправьте». — «Хорошо». — «А как вообще жизнь?» — «Хорошо».

В общем, весь букет, все, чтобы испортить настроение на пару суток. А в остальном день прошел нормально.

В остальном день прошел, как и все предыдущие, — работа между настырными посещениями самых разных

людей с их вопросами, от которых не отобьешься. Ибо никто, ни один человек, кроме Мокшина, не обладал столь уникальными и разносторонними сведениями о том, например, что молодые цыплята особенно вкусны сразу после убоя, но, с другой стороны, аромат трюфелей — нестойкий и улетучивается очень быстро, тогда как достоинство этих своеобразных грибов как раз и заключается в аромате, а отнюдь не во вкусе; никто другой не мог дать исчерпывающей консультации по правилам хорошего тона, или, допустим, определить характер по типу лица, или, если нужно, пояснить, что улица Толмачева раньше носила название Караванной, ввиду того что там квартировал караван слонов, подаренных иранским шахом императрице Анне Иоанновне.

Но откуда, откуда же такая уникальная информированность во всех животрепещущих вопросах? И почему наряду с кулинарией и лечением травами — даже хиромантия, графология, астрология, чуть ли не черная магия? Да что уж там, нынешний большой человек, начальник Жуков, всего два года назад чуть ли не в ногах валялся, просил по фотографии любимой женщины объяснить ее загадочную натуру и посоветовать, как себя с ней вести. И Мокшин посоветовал, руководствуясь, честно говоря, не фотографией, а собственными наблюдениями женских характеров. И выдал соображения, и Жуков, заметьте, вскоре женился.

А все дело в том, что Олег Мокшин имеет так называемое хобби: собирает редкие книги, которые содержат различные указания, конкретные руководства по всевозможным вопросам, — от «Как быть мужчиной?» до «Оказания первой помощи диким животным при преждевременных родах».

— Тратишь бешеные деньги — и на что? Добро бы ты сам был этим... йогом или верил в гадание по руке! Чистейшая блажь! — так любит говорить матушка Олега Николаевича Анна Герасимовна. — Чистейшая блажь.

Кстати, Ольга Максимовна просила узнать, она видела во сне мясо, к чему это?

— К болезни.

— Ах ты какая досада, бедняжка только что перенесла фолликулярную ангину.

Итак, повторяем: Мокшин собирает редкие книги и не далее как вчера — помните? — приобрел еще одну. Но вчерашний вечер сложился так, что даже просмотреть новое свое приобретение Мокшин не смог. Сперва влип у Вари: толковал сны ее любвеобильной подруге, потом, вернувшись домой, выслушивал причитания матери; что, подумайте, дожил ведь байбак до тридцати пяти лет, гуляет в холостяках, а мать за ним прибирай, корми да обстирывай, очень удобно устроился, и добро бы еще невест вокруг не хватало, вон Варвара-дурочка, десять лет ждет, ну, эта понапрасну старается, наш-то жених — месяц ясный, все по сторонам глядит, подходящую принцессу никак не найдет... и так далее... Олег, как всегда, промолчал и сразу лег спать.

А сейчас, стоя в битком набитом автобусе, притиснутый к толстой даме, выжившей его с сиденья, он мечтал о новой книге, представлял себе, как придет домой, пообедает, сядет в кресло и, не торопясь, раскроет ее...

5

На первой же странице сенсационно сообщалось, что человек, воспитавший в себе силу духа, достигнет в жизни окончательных успехов главным образом потому, что сильная личность обладает исключительной властью над другими людьми. Мокшин с досадой перевернул страницу. Далее неизвестный автор (фамилия нигде не была обозначена) доводил до сведения «любезного читателя», что власть и могущество во многом достигаются с помощью невероятно «простаго средства: уменья говорить въ глаза людямъ то, что о нихъ думаешь». Невзирая на лица



значит. Однако указание, как добиться для себя этого замечательного умения, даже привычного к черной магии и алхимии Олега Николаевича заставило изумленно крикнуть и потереть ладонью лоб. На полном серьезе, со ссылкой почему-то на графа Калиостро, автор предлагал читателю сварить некий настой, испив чашку какового, жаждущий мгновенно приобретает искомые свойства. Ничего себе залепуха! Мокшин пролистал книгу до последней страницы и убедился, что кроме вышеназванных сентенций и еще тягучих назиданий о том, что лучше быть сильным, нежели слабым, а также исторических подтверждений этого парадокса ничего в книге нет.

Заснул он поздно и в неважном настроении и сразу увидел во сне лошадей. Тучные и малоподвижные, они лениво паслись на огромной, очень яркой поляне. Сон был цветной, и Мокшин видел ослепительно сочную траву, сверкающее небо, блестящие от пота лошадиные бока. Одна лошадь была Алевтиной Яковлевной Зленко.

— Все врешь, мерзавец?! — спросила она, глумливо подмигивая накрашенным глазом. — Совсем изолгался? Ну, погоди...

Неспровоцированное нападение заставило Олега проснуться, он вообще неважно спал, очень чутко, просыпаясь от малейшего пустяка. Некоторое время он пролежал без сна, вспоминая пошлую книгу. Сила. Популярность. Нет, никогда, чтобы их добиться, он не орудовал, как дубиной, этой так называемой «правдой-маткой», никогда не лупил по людям горькими истинами, а тем не менее слушались его почти всегда безоговорочно и добровольно. Почти всегда... Почти... На той неделе Зленко устроила базар, когда он предложил ей поработать в воскресенье, — был срочный проект. И эта настырность, чуть ли не фамильярность... Мокшин, видишь ли, всеобщий друг-приятель. И на должность назначают Жукова. А загадочный шарлатан уверяет, что всем доступно. Он ведь там предлагает какой-то дурацкий настой. Зе-

лье какое-то. Чушь! А из чего зелье, не сказано. Какая только дурь не лезет в башку по ночам!

Наутро случилось вот что: наутро Мокшин взял в руки книжку, чтобы поставить ее на полку к другим экспонатам, и тут из книжки выпал маленький желтый листок, подняв который, Олег Николаевич прочитал рецепт, написанный выцветшими чернилами:

«Въ полночь круглый сосудъ наполни родниковой зимней водой до половины и поставь на огонь. Какъ только вода закипитъ, брось туда листъ осиноый, другой — березовый, а третий — артишоковый, добавь агать, горсть полыни и пепель от пера живой (непрерменно!) вороны; перецъ — по вкусу. Грамотку сию сожги, пепел всыпь. Кипяти до рассвета, а лишь подыметъ солнце, сними сосудъ съ огня и охлади. Зелье готово. Выпей полную чашу до дна. И ты получишь ни съ чемъ не сравнимое удовольствие — способность говорить все, что думаешь».

«Что за чертовщина, — подумал Мокшин, — какие-то перья... И откуда он взялся, этот листок? Вчера, голову на отсечение, я все просмотрел. Бред какой-то, нет, до такого я еще не докатился... И потом, где это, интересно знать, я сейчас возьму ему родниковой воды и листьев? Особенно этот... артишок. Агат, между прочим, имеется, запонки у меня с агатом, те, что Варька к Новому году подарила... А сегодня как раз суббота, позвонить ей и отправиться вместе в Саблино, там, помнится... да и она уже месяц просит куда-нибудь съездить».

6

Следующая неделя ушла на сбор ингредиентов. Конечно, все это чушь, но почему всегда — только пресный рационализм и «этого не может быть потому, что не может быть никогда»? Колдовское зелье пусть обозначает Начало Начал, не более того. Не мальчиком — но мужем. Да. Бидон, до краев наполненный зимней родниковой во-

дой из Саблина, уже стоял в холодильнике, два прошлогодних листа, березовый и осиновый, чудом не облетевшие осенью, дожидались своего часа в ящике письменного стола, в специально отведенном пакете. В среду к ним присоединился и артишоковый лист, выпрошенный у отзывчивого сотрудника Ботанического сада, принявшего за чистую монету темпераментный рассказ Мокшина о некоем пари, которое он, Мокшин, должен непременно выиграть, а это дело чести, вопрос жизни и смерти, вы понимаете? Здесь же хранилась одна из агатовых запонок. Рядом лежала коробка полыни, купленная в аптеке. Оставалось найти только перо, и тут Мокшину долго не везло — вороны улетали, уходили, убегали, удалялись от него скачками; перья, которые он изредка находил, могли принадлежать как воронам, так в равной степени и голубям и даже, если уж на то пошло, диким уткам.

И вдруг повезло. Выйдя утром в пятницу во двор, Мокшин стал свидетелем драки большой и, видимо, очень злобной вороны с разъяренным помойным котом. У кота дыбом стояла шерсть, у вороны — перья, кот шипел и, вроде бы, ворона тоже. Схватка была короткой, но яростной, и, как говорят комментаторы, «победила дружба» — ворона, долбанув кота клювом в темя и получив от него по спине лапой, улетела, кот же, усевшись на мусорный бак, принялся свирепо умываться. А на оставленном ими поле боя Мокшин увидел два новеньких, добротных серых пера. Он тотчас подобрал их и воровато сунул в карман пальто.

Итак, в субботу, предупредив мать, что собирается печатать на кухне фотографии и потому настойчиво просит не входить, Олег Николаевич скрупулезно проделал все, что было предписано: вскипятил в эмалированной кастрюле воду, бросил туда означенные листья, всыпал с трудом растолченный в ступке агат, добавил пепел от вороньего пера, полынь, щепоть черного перца и, наконец, спалив «грамотку», кинул ее останки. Проделав все

эти операции, он закрыл «круглый сосуд», то бишь кастрюлю, крышкой, убавил огонь, чтобы не выкипало, и сел на табуретку возле плиты. Сидеть предстояло долго, до рассвета, но взялся за гуж... А Мокшин все дела привык доводить до конца. Спать не хотелось, сперва было немного смешно: сидит болван у плиты и варит зелье... Варит перья... Сидит Лукерья и варит перья... Лукерьей звали няньку... Перед Новым годом, вот на этой самой кухне она гадала вместе с какими-то своими подругами: жгли бумагу—смятые комки газет—и рассматривали на стене тени от пепла. «Мужчина высокий на костылях», — шептала нянька, и Олег отчетливо видел плечистого инвалида с обветренным добрым лицом. «Ктой-то на коне», — говорила она. «Где? Где?» — вскакивали старухи и ничего не могли разглядеть, а конь настоящий, вороной, с развевающейся густой гривой скакал по стене, и на нем казак в бурке мчался, подняв над головой шашку.

Было это тридцать лет тому назад.

Легкий пар поднимался над крышкой, в домах напротив одно за другим гасли окна.

— Олег, ты скоро? Пора спать! — крикнула мать из своей комнаты.

— Спи, мама, спи. У меня еще много, — отозвался он.

...Зелье зельем, а сила духа силой духа. Пора. Тридцать пять лет — это тот возраст, когда мужчине уважение нужнее, чем всеобщая любовь. Всю жизнь в симпатиях — мало. Посмотрим, товарищ Жуков, поглядим...

В комнате матери раздраженно скрипнула кровать, потом резко щелкнул выключатель. Тихо.

Наступило воскресенье, одиннадцатое марта, восход солнца, согласно календарю, должен состояться в 6.58.

И состоялся. Окно неярко, но вполне уверенно засветилось сероватым мглистым светом. Олег взглянул на часы: 6.57. Он встал с табуретки. Стрелка коснулась 6.58. Он выключил газ, взял кастрюлю полотенцем за на-

гревшиеся ручки, осторожно перенес ее в свою комнату и поставил на подоконник. А поставив, почувствовал внезапно такую усталость, что немедленно, не раздеваясь, повалился на диван и крепко уснул.

7

Вкус был неопределенный, но перцу он бросил, как видно, от души — во рту, во всяком случае, основательно жгло. Мокшин выпил полную чашку, вытер губы и сел на диван. Ничего не происходило, никакого душевного подъема, или там прилива решимости, или вспышки принципиальности он не чувствовал, ощущал только, что не выспался и что — идиот — убил ночь перед выходным днем неизвестно на что, на детскую чушь, и никому ведь не расскажешь: засмеют.

— Сидишь? — спросила мать входя. — Почему не идешь к своей Дульцинее? Поругались-таки?

— Мама, — вежливо, но твердо сказал Мокшин, — очень тебя прошу, не говори ты о Варе в таком тоне. А лучше тебе вообще о ней помолчать, другой тон у тебя не получится.

— Как?! — спросила мать. — Что с тобой? Ты заболел?

— Я абсолютно здоров и, будучи здоровым, еще раз прошу тебя не говорить пренебрежительно о женщине, которую... о близком мне человеке. Ты поняла?

— А я ничего особенного не говорю, — мать поджала губы и попятилась. — Сказать нельзя... я просто так... откуда мне знать, твое дело...

Что-то бормоча, она исчезла, а Мокшин вышел в коридор, набрал Варин номер и сказал ей, что в кино идти нет сил, не спал ночь и валится с ног. А вечером, если она не против, он заглянет.

— А что случилось? Опять бессонница? Или маме было плохо? — встревожилась Варя.

— Ничего страшного. Занимался тут одним делом. Пока.

До обеда Мокшин проспал. Мать была непривычно молчаливой и даже как будто испуганной, сделала его любимые сырники и клюквенный кисель. Олег сказал ей, что скоро уходит, будет у Варвары.

— Если что нужно, звони туда.

— Ей?! Чтоб я звонила ей?! Ну... хорошо, позвоню, если что.

— Вот и славно. А я, если останусь там, сам тебе позвоню до двенадцати.

...И ведь, черт подери, как просто и эффективно! Ну, дела...

Несмотря на кучи снега, громоздящиеся вдоль тротуара, на сугробы в сквере и голые деревья, улица была определенно весенней. Оттаявший за день асфальт подсыхал, дул теплый и влажный ветер.

На углу Невского и Садовой его окликнули.

— Олег Николаевич! Олег Николаевич! Пойдите!

Знакомый тягучий голос, от которого у него всегда портилось настроение. А она уже была тут, уже хватала за локоть.

— Представляете, — сообщила она, — отпирается. Ничего, говорит, не было и нет. Зануда, говорит, ревнуешь напрасно. Как вы считаете? Врет? А я, между прочим, как раз сегодня видела во сне реку. Большая такая река, как Волга. А на самой середине...

— Лошадь, — догадался Мокшин и, не давая ей закрыть рта, продолжал, высвобождая локоть: — Во-первых, мне некогда, тороплюсь на свидание. Во-вторых, ваш муж безусловно прав. В-третьих, перестаньте видеть сны. Всего наилучшего.

— Как?! — опешила Зленко.

— Да вот так. Извините, — и, церемонно ей поклонившись, он заспешил к метро, радуясь Началу Начал.

Никуда они с Варей не пошли, сидели и разговаривали, и, конечно, он рассказал ей про книгу, про бумажку с рецептом, про зелье, про все. Варвара слушала его с улыбкой, покачивала головой, а когда он закончил словами: «Я пошел, а она стоит, челюсть — до земли, глаза как колеса у самосвала», сказала:

— Вот за это я тебя и люблю.

— За что?

— За все.

8

Наступил понедельник, рабочий день. Начался он с того, что Мокшин пригласил к себе Майю Зотову, конструктора как-никак третьей категории.

— Хочу вам сообщить, Майя Ивановна, — сказал он, внимательно всматриваясь в ее лицо, — что в ту пятницу я, как двоечник, краснел за ваш чертеж перед начальником отдела, потому что физически не успел исправить в нем все допущенные вами ошибки, а их было тьма. Больше я не намерен ни краснеть, ни тратить свое рабочее время на исполнение *ваших* обязанностей.

— Олег Николаевич, — привычно затрепетав, перебила его Зотова, — как вы так можете, у меня же ребенок, вы же знаете.

— Не надо жалких слов, очень вас прошу. Ребенок дома с бабушкой, а вы — на работе. И ради бога, делайте дело. Или не можете?

— Я... нет, — выдавила Майя после паузы, — я... просто... Вы не переживайте так, Олег Николаевич.

— Тогда идите и работайте, — мирно сказал Мокшин, — и помните: скоро переаттестация. Все.

А минут через десять явилась секретарь директора Лариса Николаевна со своей злополучной ладонью.

— В прошлый раз вы были не в настроении, — проворковала она, — говорили про линию ума, а мне ум не

важен. Согласитесь, в женщине ум совсем не главное, правда?

— Не главное, — охотно согласился Мокшин.

— А про *другое* вы ни слова не сказали, — продолжала она, пристально глядя ему прямо в зрачки и протягивая руку вниз ладонью, как для поцелуя, — а у меня сейчас такой момент в автобиографии. . .

— В биографии, Ларочка. А помочь ничем не могу, гаданиями больше не развлекаюсь. Некогда.

— Ну-у, Олег Николаевич, — она капризно пошевелила пальцами, не убирая руки. Рука красивая. Длинные пальцы, маникюр. Все, как положено. У Вари ногти всегда коротко острижены — медсестра.

— Правда, некогда, Лариса, — зашиваюсь. Кроме того, вам ведь всем подавай сказочные успехи в будущем, выдумывать я не в состоянии, а огорчать никого не хочу. Так что — завязал. А в «автобиографии» пусть будет, как будет. Если все знать заранее, неинтересно жить.

— Вы так думаете? — многозначительно выговорила она, продолжая неотрывно смотреть ему в глаза. — Ну что ж. . . вам видней. Кстати, скоро у меня день рождения. Что, если приглашу?

Мимходом коснувшись своим «фирменным» маникюром плеча Мокшина, она ушла, оставив в кабинете запах польских духов.

А за час до обеда его вызвал Жуков и после недолгого разговора о текущих делах, помявшись, сказал, переходя на «ты», как это было между ними принято раньше:

— У нас с тобой тут. . . какая-то тягомотина. Вот я решил поговорить, чтобы, понимаешь, раз и навсегда. . . Давай честно: ты на меня обижен?

«Ну вот, — подумал Мокшин, — начинается».

И сказал:

— Нет, на тебя не обижен. Не за что. Ты хороший парень, добрый. И ты не сам себя назначил.



— Так.

— Но твое назначение у меня вот где.

— Понятно, — произнес Жуков, глядя на Мокшина с сочувствием.

— Это ты брось. Меня мое место вполне устраивает, а вот то, что мне даже не предложили, а сразу без разговоров выбрали тебя, — обидно. Хотя, наверное, и закономерно.

— Что-то ты темно говоришь, Олег. Тебе — не надо, так почему же обидно?

— Потому что это — ты. Я к тебе очень хорошо отношусь, слава богу с института знакомы. Но, Вова, какой же из тебя начальник отдела? Даже смешно! Ты ведь... ну... всем известно, какой инженер. Если уж на то пошло, мне как-то оскорбительно, что вот у меня — такой руководитель. Руководитель такой, а я-то сам тогда какой же? Что ты так глядишь?

— Мне интересно. Ну, дальше?

— Я когда узнал, даже сперва опешил. А потом понял: все нормально, дело свое знают, попали в десятку.

— Значит, такого ты мнения. Не знал. Ну, ладно, пускай ты считаешь, что я бездарь. Ты у нас гений, всегда этим отличался...

— Не заводись. Не обо мне речь. А насчет себя ты и сам знаешь не хуже моего. Или уже потихоньку наполняешься самодовольством по принципу «дурака не назначают»?

— А иди ты! Но чем же все-таки, по-твоему, я так устраиваю дирекцию? При моей бездарности? Я что, подхалим, блюдолиз? Взятку им дал?

— Взятку ты им, Вова, не давал, и вообще ты чудный парень, простодушный до... умиления. Ну чего ты лезешь в бутылку? Сам меня на этот разговор спровоцировал, а теперь комплексуешь. Хватит. Я пошел трудиться.

— Нет, извини. Я должен понять, мне это важно. И нам работать вместе. Начал, так договаривай.

— Палки тебе в колеса я совать не собираюсь, а остальное мое личное дело. Я и так уже тут наговорил, вон ты какой красный.

— А вот это *мое* личное дело! Ну, давай: какой я такой особенный подлец и интриган, что меня тебе, выдающемуся, предпочли?

— Да никакой ты не подлец и не интриган. Куда там тебе еще интриговать! Ты вообще — никакой. Самая обыкновенная среднестатистическая посредственность с уживчивым и покладистым характером. С тобой удобно. Дирекции. Но это их дело. А мне, представь, иметь над собой такого, как ты, не ахти как приятно. Хотя, конечно, и не смертельно. Проживем. И ты, Володя, не багровей и не надувайся и впредь не приставай к людям с такими вопросами. Потому что даже если кто-нибудь и скажет, что твое повышение — самый мудрый шаг руководства, не верь: подхалимаж.

— Советов я у тебя не просил: обойдусь.

— Понятно. Я пошел.

Жуков молчал, и Олег вышел в коридор с ощущением странной легкости и даже какой-то пустоты в душе. Ай да воронья перья. Ай да полынь-трава. Обойдется он, видите ли! Хорошая миша при плохой игре. Ничего, пусть знает.

Гурьеву из отдела кадров, в тот же день позвонившему, что хочет зайти «с фотографией этой особы, проконсультироваться дополнительно», Мокшин, чувствуя все ту же легкость и свободу, сказал, что ради вздора отрываться от работы больше не намерен. Да, занят. Да, до конца дня... Что? Нет, и завтра тоже. И мой вам совет: оставьте вы парня в покое.

Просительные, почти униженные нотки в голосе Гурьева мгновенно сменились холодной и даже враждебной интонацией, но Мокшин от этого почему-то только разве-

селился. Чувство неуязвимости переполняло его, хотелось, чтобы пришел кто-нибудь еще с очередной идиотской просьбой, очень уж это было забавно: видеть, как сперва чуть затлеют, а потом начнут разгораться на полную мощность растерянность и уважение в перепуганных глазах, точно там где-то вырубili реостат и увеличивают напряжение.

Но никто ни с какими просьбами больше не приста- вал — видно, предыдущие посетители разнесли слух, что Олег Николаевич сегодня не в духе и всех отшивает. В полной тишине и спокойствии Мокшин успел просмотреть и подписать одну довольно объемистую пояснительную записку, а перед самым концом дня явилась Зотова, робко постучав, вошла на цыпочках и положила перед ним почти безукоризненно выполненный чертеж тарного цеха.

9

Шли неделя за неделей, и Мокшин с любопытством наблюдал, как меняется отношение к нему окружающих. Не то чтобы оно стало лучше, просто — другое, и это «другое» вполне его устраивало: исчезло панибратство и появилась та самая дистанция, какую всегда соблюдают по отношению к человеку, которого... да, да — слегка побаиваются. Подчиненные Мокшина с некоторых пор определенно побаивались своего руководителя, на удивление быстро привыкли к его беспощадной требовательности, и от этого качество чертежей и прочей технической документации резко повысилось. С Жуковым отношения установились холодные и четкие: тот, видимо, понял, что Олег Николаевич зря задираться не будет, но мнение свое всегда отстоит. Пойдет, если надо, и к главному инженеру, и к директору. И ходил. И Жуков помалкивал да поглядывал исподлобья. И разговоры на посторонние темы между ними совсем прекратились. Только о работе.

Как-то недели через три после Начала Начал Лариса доверительно сообщила Мокшину: мол, в народе ходят упорные слухи, что его ждет крупное повышение, что он об этом знает, потому и стал такой.

— Какой же?

— Суровый.

— Да?

— Да. Хотите новость?

Выяснилось, что Лариса случайно слышала, как главный инженер говорил директору, что, похоже, они поторопились, назначив Жукова. Мокшин-то покрепче будет. А директор: «Характер у твоего Мокшина скверный. Но вообще надо подумать, вот скоро Тихомиров пойдет на пенсию, будем решать».

— За информацию с вас причитается, — сказала Лариса и подставила щеку, благо в приемной они были одни.

Мокшин деликатно коснулся этой щеки, почувствовал запах пудры и услышал:

— Этим не отделаетесь, завтра день рождения, жду с цветами.

10

Как же это? Выходит, он всегда ошибался, считая, что самого большого можно добиться от людей мягкостью и уступчивостью? Выходит, автор злодейской книжонки оказался все-таки прав? Против фактов не пойдешь, — даже личная жизнь и та: выпады в Варин адрес прекратились, мать больше слова дурного о ней себе не позволяла и почти безропотно сносила его уходы и долгие отлучки, а сама Варвара сказала, что думала, будто знает его как облупленного, но только сейчас у нее по-настоящему открылись глаза. Этим закончился один малопривлекательный разговор, когда Мокшин объявил ей, что намерен отправиться на день рождения к сослуживице и,

219

поскольку его пригласили в качестве кавалера и души общества, отказаться неудобно. Взять же Варвару с собой он не может. Почему? Ну.. хотя бы потому, что ее никто не звал, а он не хотел бы афишировать...

— Больше объяснять ничего не буду. Не понимаешь — очень жаль.

— А если бы я была твоя жена? — тихо спросила Варя.

— Но ты ведь не жена, — ответил он.

Конечно, сперва она немного поплакала. Мокшин сидел рядом и терпеливо ждал. А что, если разобраться, он должен был делать? И тогда Варя, вытерев слезы, внезапно улыбнулась и сказала:

— Ладно. Ты прав, зачем мне туда идти? Никого не знаю, умру с тоски. Пойду лучше к Людке. А тебя уважаю: мог ведь, как раньше, сказать, что собираешься с мамой к тетке, а сказал то, что есть, и хоть я заревела, все равно так гораздо лучше. Я даже не знала, какой ты. Самый честный.

Просто поразительный народ женщины: «Как раньше, сказать, что идешь к тетке». А молчала.

...Ну, а все-таки, как быть с зельем? Мокшин все-таки иногда профилактически выпивал натошак по полчашки отвара. Да, а что? Не пропадать же вещи, в самом деле, когда столько сил было затрачено на собиранье всех этих полыней, артишоков и перьев.

11

В тот день Мокшин поехал к Варваре сразу после работы. Накануне она звонила. Тихим и каким-то вялым голосом просила занести книжку. Олег обещал, а потом ругал себя за это, потому что день получился тяжелый, он устал как собака, да к тому же вспомнил, что по телевизору сегодня вечером начинается детектив-многосерийник. Посмотреть у Вари? Что вы! Оскорбится: «Мы и

так редко видимся, я хотела поговорить...» О чем говорить? В общем, глупо, визит к ней вполне можно было бы отложить, но что поделаешь — обещал, да и книги взял с собой, когда выходил утром из дому. Не тащить же обратно. Поехал.

В автобусе царил невероятная давка и толкотня, так что, когда рядом с ним освободилось место, Мокшин сел с большим облегчением и удовольствием — казалось, еще полминуты, и все пуговицы от плаща будут оторваны, выдраны с мясом, а только что вычищенные ботинки истоптаны. Он сел, поставил на колени грузный портфель, но моментально, откуда ни возьмись, около него возникла востролицая, отнюдь не слишком молодая, но вполне безвкусно размалеванная гражданка в отличном кожаном пальто и с сеткой, полной картошки. Без всякой радости Мокшин попытался встать, чтобы уступить ей место, но в давке сделать это сразу было не так-то просто, а женщина между тем, оберегая свое замечательное пальто, что было сил прижала сетку к коленям Мокшина, непосредственно к его новым серым брюкам.

— Отодвиньте, пожалуйста, куда-нибудь вашу картошку, вы мне пачкаете одежду, — негромко попросил Мокшин, приподнимаясь, но дамочка не пошевелилась, а еще изобразила на своем воробыином лице возмущение.

— Куда это, интересно знать, я уберу? Тут не повернуться. Вам хорошо — сидеть и рассуждать.

— Стыдно, молодой человек, — тут же раздалось слева. Рыхлый старик, только что безмятежно дремавший рядом с Олегом, уже стоял. — Садитесь, садитесь, девушка, даме — место, я постою, это пусть другие сидят, которые постарше, имеют право.

Он пыхтел и негодующе сверлил Олега взглядом. «Девушка». Рыцарь. Не глядя на него, Мокшин сказал тетке:

— Зачем столько эмоций? Садитесь, ради бога. А са-

мое правильное было бы сразу войти, как положено, в переднюю дверь и занять законное место.

— Нахал! — вскинулась дама, а стоящий рядом ветхий джентльмен тут же радостно зашамкал:

— Какая бестактность! Позор!

Не обращая на все это никакого внимания, Мокшин начал энергично протискиваться к выходу. Что, собственно, такого оскорбительного он сказал этой кожаной? Испугалась. Как все же люди боятся правды, а ведь нет ничего опаснее, чем обольщаться на собственный счет. Никакая тушь, никакие помада и белила уже, увы, неспособны сделать вас, мадам, молодой и красивой. И кожаное пальто не спасет. И комплименты. Вся эта неравная борьба со старостью только отнимает последние силы и в результате, естественно, сердцебиения, и стоять в автобусе с полной сеткой — тяжело. А внуки небось растут хулиганамн.

— Принес книгу? — сразу спросила Варя, когда, отперев дверь своим ключом, Мокшин вошел к ней в квартиру.

— И не одну, — сказал он, выкладывая на стол из портфеля три тома Пруста, словарь иностранных слов и сборник английских новелл.

— Ну-у... Я же не это просила. Я — «Силу духа».

— Незачем тебе читать всякую макулатуру, только головушку забивать и время тратить. Приличные вещи надо читать, а не барахло. Помнишь, я в январе уезжал в Бакуриани, дал тебе «Бойню номер пять»? Ты ведь так и не удосужилась. Вот, почитай Пруста.

— А без Пруста тебе со мной скучно?

Вот, пожалуйста, и тут те же игры. Давайте будем делать вид, что все не так, как есть на самом деле, а как нам хочется. Будем красить ресницы и надевать кожаное пальто, и тогда нас в наши пятьдесят восемь лет в автобусе станут называть девушкой. Будем капризно надуть губки — и нашей невежественности как не бывало:

«Ну, что ты, моя девочка, конечно, мне с тобой совсем не скучно, ты вообще у нас профессор, просто это мой любимый писатель, и я хочу знать твое мнение о его творчестве».

— Если говорить начистоту, — спокойно произнес Мокшин, — то в последнее время иногда бывает — да, скучно. Про старшую медсестру Мусю я ведь уже все как будто бы слышал, про Людкиных женихов — тоже, что дежурить сутки тяжело — усвоил. Ничего обидного в том, что я принес тебе книги, по-моему, нет. Вуз ты уже не кончишь, а так. . .

— У тебя что-то случилось? На работе? Нет? С мамой?

— Ну зачем ты так сразу начинаешь хлопать крыльями? Что могло случиться, глупенькая? Сказал, что думал, пора бы уже привыкнуть.

— Я никогда не. . . я не знала, что тебе скучно, — проговорила она каким-то жалким голосом, — зачем же ты со мной встречаешься, раз скучно?

Некоторое время Мокшин молча смотрел на Варю. Интересно, чего она хочет сейчас? Чтобы он сказал, что пошутил, чтобы вообще этого разговора *как бы* не было? Вот этими дрожащими губами, слезами на глазах она выпрашивает, чтобы он сейчас отказался от своих слов. Чтобы соврал.

— Не хочешь ты читать Пруста, ради бога, не читай, — сказал Мокшин с раздражением, — я хотел как лучше, но вообще-то можно и без умных разговоров. В конце концов, я не для них к тебе прихожу, а как женщина ты меня вполне устраиваешь. Да что ты так смотришь?! Я же тебе говорю — ты хорошая, добрая, милая.

— Как женщина. . . устраиваю? — странным голосом спросила Варя.

— Можешь не сомневаться. Устраиваешь. Гарантию даю. Во всяком случае, на сегодняшний день.



— На сегодняшний день... — опять сомнамбулическим голосом повторила она, — устраиваю... на сегодняшний день...

Она смотрела на него широко раскрытыми глазами и опять — опять! — молча просила: «Ну, соври! Соври!» А он не мог. И не хотел.

— Ну откуда же я знаю, что будет потом, — сказал Мокшин и обнял Варю за плечи. — Кто вообще это знает? А если я завтра отдам концы?

— Тогда я тоже.

— Не болтай. И не кисни. Никто про себя ничего не знает, Варька. Можно загадывать сколько угодно, можно давать пустые обещания, клятвы... Можешь ты, например, быть уверена, что через год я тебе не надоем, не опротивлю?

— За десять лет не надоел.

— ..Не можешь ты быть уверена. И я не могу. Вот смотри: сегодня нам с тобой уже по тридцать пять, верно? Через пять лет будет по сорок. Допустим, мать умрет...

— Зачем ты так?

— А почему? Почему я должен делать вид, что именно моя мать будет жить вечно? Ей сейчас уже под семьдесят, и она пережила блокаду. Ну, пять лет еще, ну, десять от силы... Так вот, я останусь один и решу жениться. Мужчина в сорок лет еще далеко не старик, а женщина...

Варя молчала.

— Ну, чего ты? Куда денешься, закон природы. И разве преступление, что мне захочется когда-то иметь семью, детей? Что я — да! — думаю об этом? Это очень грустно, очень обидно, даже жестоко, но.. в сорок лет здорового, полноценного ребенка ты ведь мне не родишь. К сожалению.

— Разве я в этом виновата?

У нес дрожали губы, дергалась щека, лицо сделалось некрасивым и старым. *Уже* старым.

— Ни в чем ты не виновата. Но и я не виноват, что тебе не двадцать лет. И хватит. Ей-богу, хватит, это уже мазохизм какой-то.

— Как... как ты можешь? Мы целых десять лет вместе...

— Вот именно. Целых.

— Мои родители прожили тридцать.

— Они были мужем и женой. У них была ты.

Совершенно неожиданно у Варвары маятником замоталась голова, она упала на тахту лицом в подушку, плечи задергались.

— Я тебе надоела! Ты меня не любишь! Не нужна! — невнятно выкрикивала она, и все это было так на нее непохоже, и так было жалко ее, просто черт знает как жалко! Он смотрел на вздрагивающие плечи, на задравшийся у пояса свитер, на вцепившуюся в подушку руку с коротко остриженными широкими ногтями. Она плакала в голос, по-деревенски, так, наверное, бабы по покойнику ревут.

Тут только одно теперь поможет: «Люблю, буду вечно, до гробовой доски, клянусь...»

— Брось, перестань, слышишь? — Мокшин сел рядом с ней на тахту. — Я очень, очень хорошо к тебе отношусь, честное слово, привык к тебе...

Рыдания усплились. О, дьявол, будь он неладен, этот отвар.

— Зачем... зачем ты мне все это сказал? Для чего? — вдруг выкрикнула Варя. — Я же ничего от тебя не требую. Никогда не требовала... Зачем сейчас... ведь все было так хорошо... как у тебя поворачивается язык?

«Зачем сказал». А она зачем спрашивает? Ничего я не знаю, может давно уже осталась одна привычка... ничего я не знаю. А она... да и все... нет, они не просто

бояться того, что есть, — драться готовы, из горла вырвать ложь, обман, вот ведь какие дела. . .

— Послушай, Варька, — Мокшин схватил ее за плечо и повернул к себе лицом (до чего некрасива, глаза запухли, нос расплылся), — успокойся. Сейчас я тебе все объясню. Не могу я врать, понимаешь? Нет, ничего ты не понимаешь, погоди. . .

Мокшин вынул из портфеля бутылку с остатками настоя.

— Смотри. Это то самое. Ты просила книгу, а я тебе принес. . . да вытри ты слезы наконец!

Он отвинтил пробку и протянул бутылку Варя.

— Вот. Выпей. Тут еще стакан, не меньше. Я лично перед уходом испил полчашечки, чего и тебе желаю. В целях эксперимента: начнешь меня крыть, шпарить правду-матку. Но клянусь: не обижусь, рыдать не начну. Вот увидишь. Пей!

— Господи! — Варя быстро села и обхватила его за шею. — А я-то, дура. . . Ну конечно же, ты просто отравился этой дрянью. Это бывает. А я поверила, могла о тебе *так* подумать.

— Ну, пей, пей, — настаивал Мокшин, — какая там отравка, интересно же!

— Да выпью, все сделаю, что ты хочешь. Ох, как я испугалась, думаю — все!

Она взяла из его рук бутылку и стала пить прямо из горла. Мокшин пристально за ней наблюдал. Пьет. До самого дна выпила.

— Тьфу, какая гадость. Ну и что теперь будет? — Варя протягивала пустую бутылку Мокшину.

— Сейчас начнешь говорить. Правду! Только правду. Одну правду. Всю правду, и да поможет тебе бог!

Обычно Варя говорила мало, больше любила послушать, а длинных объяснений и признаний по поводу чувств, как правило, избегала. А тут ее прямо-таки понесло, точно она решила разом высказать все, что держала при себе эти десять лет. Мокшин узнал, что, оказывается, она не просто его любит, а любит больше всего на свете, даже маму так не любила, а о бывшем муже и говорить смешно, что кроме него у нее по существу ничего больше в жизни нет, и никого нет, что все эти годы она только и жила их встречами, а промежутки между ними были сплошным мучением.

Еще он услышал, что те три лета, когда они ездили вместе в отпуск, были самыми счастливыми в ее жизни, а когда он уезжает один — хоть в командировку, хоть зимой на лыжах в Бакуриани, хоть на юг, — она с ума сходит тут от тоски и ревности, да, да, что, я не знаю, сколько их выросло, молоденьких, да умных, да образованных, не то что я!..

Насчет тоски и ревности — это для Мокшина была новость. Обычно, когда они с Варей встречались после большого перерыва и он спрашивал, как, мол, ты тут без меня, она всегда с ясной улыбкой докладывала, что все было замечательно, конечно немного скучала, но это не страшно, а вообще жила интересной жизнью, ходила два раза в театр — пригласили, а еще в кино и на выставку моделей одежды.

Теперь выяснилось, что все эти приглашения в театры она выдумывала, а кино и модели видала в гробу, а на самом-то деле ей вообще ничего не нужно, кроме как сидеть около него и смотреть, и еще слушать, потому что он же ужасно красивый, умный и необыкновенно тонкий человек, она никогда не могла понять, за что ей досталось такое счастье в жизни.

Все это было, наверное, более или менее естественно

с ее стороны, хотя, конечно, чтоб через десять лет и настолько... но допустим. Но главное — с нарастающим беспокойством слушал Мокшин, — ей необходима уверенность, что он никуда не уйдет. Нет, не расписка, не гарантии на сто лет вперед, а просто знать, что сегодня он будет с ней. И завтра. Или хоть до утра, потому что очень страшно всегда ждать: вот сейчас он скажет: «Ну, мне пора», а домой к нему ей нет хода, и она опять останется одна в своей постылой комнате и будет ждать, ждать, ждать...

И потом: все эти годы она, оказывается, была уверена, что он не женится на ней только из-за матери, считала причину вполне уважительной, готова терпеть хоть до старости, хотя, конечно, ей очень бы хотелось иметь ребенка, но — что уж тут поделывать! — Олег ей нужнее всякого ребенка, и она надеялась, что хоть когда-нибудь, хоть не скоро, а все равно они будут вместе, поэтому одна мысль, что может быть как-то иначе, для нее ужас, трагедия, чуть ли не повод к самоубийству, ей ведь совсем недавно бывший муж предлагал помириться (а молчала!), но она сказала — нет и никаких разговоров быть не может, все девчонки говорят, что она дура, но ей даже в голову... И вот сегодня, когда она услышала...

— ...Решила, что я подлец.

— Нет, нет! Я знаю: ты очень хороший, благородный, лучше всех! Просто ты выпил этой гадости. Это отравление, яд действует на головной мозг... — и вдруг ее взгляд остановился на бутылке из-под зелья, и она внезапно умолкла. Не отрываясь и медленно бледнея, она смотрела на бутылку, на *пустую* бутылку, пустую, потому что...

— Но я ведь тоже... — зачем-то она поднесла руку к горлу. — Я выпила и — ничего? Значит...

— Что — «значит»?

Варвара поднялась с дивана. Очень бледная и прямая, стояла она перед Олегом.

— Ты меня любишь?

Не чувствовал он сейчас никакой любви. Он чувствовал усталость. И еще какую-то обреченность, как будто на крутом спуске, когда отвернуть уже нельзя, заметил камень, вот перед собой в двух метрах, а скорость — под сто... Варя смотрела ему в глаза и ждала.

— Не знаю, — с трудом проговорил Мокшин. — Сейчас, паверное... Не знаю...

— Тогда уходи. Слышишь, уходи. Только скорее! Скорее! Скорее! — Она говорила очень тихо, почти шепотом. Но получился крик.

И Мокшин ни объяснять, ни возражать не стал. Ушел.

13

— Ты? — удивилась мать, точно прийти должен был кто-то другой.

— Я же говорил, что приду ночевать.

— Правда? — обрадовалась она. — А я забыла. Неужели ты говорил?

— И даже два раза.

— Сейчас поставлю чайник. Тебе тут звонила девушка. Лариса. Ты голоден? А почему ты не остался у Вари?

...Не хочу я сейчас разговаривать, не хочу никакого чаю, что вы все в душу-то лезете?!

— Варя меня выгнала.

Мать вдруг принялась смеяться.

— Вот так номер! — веселилась она. — *Она тебя!* Ни за что не поверю. Это просто ход, чтобы заставить тебя наконец жениться. А ты-то раскис, вон бледный весь! Ну, беги, беги, умоляй, валяйся в ногах, проси руки и сердца.

— Мама, я ведь говорил. Это мое дело, перестань ты вмешиваться, хватит уже, повмешивалась...

— Ах вот оно как! Я же и виновата. Его выгнали, а мать виновата. Вмешивалась, видите ли, не давала устроить семейное счастье.

— Спокойной ночи.

Олег направился было к двери в свою комнату, но мать встала у него на дороге.

— Я тебе помешала жениться? Так ты считаешь? Да? Скажи честно — я?

— Ну, а кто еще? Сама знаешь. Зачем эта комедия? У меня голова болит, завтра поговорим.

Но у Анны Герасимовны темперамент был — будь здоров.

— Нет, вы только послушайте! — закричала она. — Я мешала! Как только язык повернулся?! Всю жизнь ему отдала, до тридцати пяти лет — за маминой спиной. Обедки, компотики! Все для него, и вот дождалась, спасибо!.. — В голосе ее уже слышались слезы. — Женись, сделай одолжение. Переедешь к ней... да нет, зачем переезжать, приводи ее сюда, а я...

«Умру... Или уйду в богадельню»... Так?

— Не волнуйся, сейчас это, как видишь, не актуально, да и вообще не женюсь я ни на ком, пока...

— Пока я не умру. Ждешь моей смерти. Тебе лучше было бы одному?

— Ничего я не жду. А одному... Да. В каком-то смысле, может быть, и лучше. Проще.

Вот и сказал. Сказал, что думал.

Вся вдруг съежившись, глядя испуганными глазами и слабо отмахиваясь, мать двигалась к двери. Не проронив ни слова, она исчезла в своей комнате. Надо было немедленно идти за ней, что-то говорить, объяснять, оправдываться.

Олег не мог говорить, не было у него сил оправдываться, он ничего больше сегодня не мог.

Ночь прошла отвратительно. Едва заснув, Мокшин тут же толчком просыпался с колотящимся сердцем, вставал, пил воду, ложился, засыпал опять. И опять, вздрогнув, открывал глаза. Душная сухая темень наполняла комнату: кончался апрель, погода уже неделю стояла почти летняя, а топили так, что невозможно было прикоснуться к раскаленным батареям.

...С матерью получилось скверно, хуже некуда. Да и с Варькой. Взаимное вранье стало нормой, и всякая искренность производит впечатление стихийного бедствия. День за днем, с утра до вечера: «Ах, Алечка, мы так давно не виделись, как вы прекрасно выглядите, похорошели, помолодели». И Алечка (Алевтина Яковлевна) сияет, ходит именинницей, а ведь она же *знает*, что за последний год прибавила восемь килограммов, расплылась, разъехалась, как опара, подбородок свисает на грудь и в очереди ее сегодня назвали «мамой». Все это она знает, помнит, в зеркало смотрится ежедневно, но ни за что не скажет: «Зачем эта глупая лесть?», а напротив, тоже что-нибудь в ответ соврет, приличествующее моменту, и пошкандыбает, страшно довольная, на своих бревнообразных ногах.

«Провожая вас на заслуженный отдых, мы все надеемся, дорогой Павел Петрович, что вы еще много-много лет будете таким же здоровым, бодрым и молодым, как сейчас. И мы сможем еще не раз обратиться к вам за помощью и советом по работе... ваш бесценный опыт, ваши знания... всегда... никогда...»

От этого Павла Петровича не знали как избавиться, — на рабочем месте он обычно спал, когда к нему обращались — не слышал, а если слышал, то отвечал невпопад и через минуту забывал, о чем речь. Но на заслуженный отдых идти не желал ни в какую, выпирали, он отбивался, но вот, наконец-то: «Будем за советами..



бесценный опыт...» И все это произносит человек, который два года, изводясь, ждал этого дня, которого завтра назначат на место всем опостылевшего Павла Петровича, а тот (еще бы!) все тоже понимает, но тем не менее тянет прочувственную речь, роняет слезу на грудь своему ненавистному преемнику и уходит домой, качаясь под грузом букетов и коробок с подарками.

«Дорогая! Я люблю тебя и обязуюсь обожать до гробовой доски. Другие женщины для меня, разумеется, не существуют, я их в упор не вижу, потому что ты — самая прекрасная и ослепительная, сто очков вперед дашь какой-нибудь Мэрилин Монро. Кроме того, ты еще невероятно умна, чертовски образованна и...»

...А, да что перечислять!

В половине седьмого Мокшин решил вставать. Он побрился, вымыл лицо, причесал мокрые волосы. Из зеркала на него посмотрел довольно угрюмый, неприятный тип.

В комнате матери была полная тишина. Нарочно громко шаркая туфлями, он направился в кухню... Варвара все-таки позвонит, в этом нет сомнения. Скорее всего, на работу. Можно бы, конечно, позвонить самому. Но что ей сказать? Извиниться? За что? Мокшин налил в кофейник воды и с грохотом поставил его на плиту. Похоже, его сегодня решили оставить без завтрака. Демонстрация протеста. Ладно. С матерью уж как-нибудь, мать все-таки... И он пошел к ней.

И замер на пороге.

Кровать аккуратно застелена. Домашние тапки стоят носками внутрь на коврике, вон — цветы на подоконнике политы, и даже форточка открыта. А куда же она девалась ни свет ни заря? И он ничего не слышал.

Хлопнув дверью, он ворвался в кухню, выключил газ, дрожащими руками схватил булькающий кофейник, обжегся, выругался и бросил кофейник в раковину. Со зво-

ном слетела крышка, рванулся пар, а Мокшин уже был в коридоре, с яростью рвал с вешалки плащ, непослушными пальцами шнуровал ботинки, ткнулся взглядом в свою дубленку и подумал, что мать после трех напоминаний не убрала ее в нафталин. Вспомнил, как она ругала его за эту дубленку: зачем купил, барахло, ты инженер, а не мясник. Вечно вмешивается. Вот ведь — ей все можно! Она — не выбирает выражений! Мокшин споткнулся о портфель, почему-то стоящий на полу, и изо всех сил поддал его ногой. Сняла зачем-то со столика, поставила на пол. Торопилась. Куда? Вздорная, бестолковая старуха. Убежала. Воображает, что он кинется искать, звонить по «скорым помощам». Сейчас! Он надел шляпу, взглянул в зеркало и опять отметил, вроде даже с каким-то удовлетворением, что выглядит хуже некуда.

На улице сияло солнце. Около подъезда протирал стекла и кузов своих недавно приобретенных «жигулей» Павлов, сосед с третьего этажа, очень толстый мужчина в кожаной куртке с меховым воротником.

— С хорошей погодкой! — радостно приветствовал он Мокшина, продолжая любовно почесывать машинный бок и почти не поворачивая головы. — А вы, по обыкновению, в форме. Как огурец!

Ответа он явно не ждал, но у Мокшина вдруг что-то задрожало внутри, и удивившим его самого неожиданно звонким голосом он сказал:

— Зачем врать? Противно же, честное слово!

Рука Павлова замерла на стекле, он повернул к Мокшину совершенно оторопелое лицо.

— Перебрал, что ли, вчера?

Хорошо было бы сказать, что да, надрался, как скотина, ничего не помню, башка трещит, опохмелиться нечем, так что, сам понимаешь, сосед, не до любезностей, будь здоров. Но Мокшину только мрачно посмотрел на

Павлова и пошел прочь, ненавидя себя, ненавидя этого толстяка, весь свет, погрязший во вранье, и автора веселенькой книжки про силу духа.

15

Несмотря на то что Мокшин выскочил сегодня из дому раньше обычного, он почему-то умудрился опоздать. Вошел, когда все уже сидели на рабочих местах, и только малохольная Зотова еще докрашивала ресницы, с куриной озабоченностью глядя в осколок зеркала, прикрепленный к изнанке чертежной доски. Увидев начальника, она вздрогнула, отдернула руку от глаза и испуганно шмыгнула за кульман.

— Здравствуйте, — сказал Мокшин всем сразу. Раньше ответы звучали громко и весело, иногда, надо признать, слишком даже весело, развязно, чуть не нахально. Но теперь — шелест какой-то, шебуршание, вздох.

На столе в «кабинете» (стеклянный закуток два на два метра) в развязной позе молча сидел телефон. Выпятив брюхо, он скалился всеми своими цифрами. Мокшин снял трубку, подержал в руке, медленно положил на рычаг. Снял опять и решительно набрал свой домашний номер. Длинные наглые гудки сказали ему, что матери дома нет. Он бросил трубку, и телефон сразу затрещал.

Черт! Это была Лариса.

— Олег Николаевич, — сказала она, — зайдите к директору.

Гробовая тишина придавила кульманы, едва Мокшин появился на пороге. Он шел к двери и вдруг услышал у себя за спиной возбужденный шепот. Почему-то он резко остановился, обернулся, но комната, подавившись своим шепотом, затаилась.

В коридоре рядом с доской Почета, с которой на Мокшина чванливо смотрел товарищ Жуков В. А., сфо-

тографированный в мятой рубашке, истово и элегантно курили две расфуфыренные особы из машинописного бюро. Олега они проводили долгими взглядами, и от этих привычных женских взглядов он немного пришел в себя, поправил галстук, вспомнил, что собирался надеть сегодня югославский костюм, впрочем, этот серый, английский, тоже ничего, сойдет для директора. А югославский можно надеть завтра в филармонию. Варвара... а, черт!.. но он уже входил в приемную.

— Прошу, — пригласила Лариса, и он устремился к приоткрытой директорской двери, а Лариса зачем-то пошла следом.

В кабинете было пусто и тихо. Молчали три телефона на специальном столике. Огромный письменный стол надменно сверкал всей своей полированностью. Ни единой бумажки не лежало на нем, а обычно они громоздились горой. В распахнутую форточку орала воробья, сквозняк листал перекидной календарь. А в дверях, красивая и загадочная, стояла Лариса и смотрела на Мокшина.

— Виктора Никитича вызвали в министерство. Вчера уехал, — спокойно сообщила она, входя. — Садитесь.

...Так. Сегодня ко всему прочему нам еще остро необходимы лирические разговоры. А дело явно идет к тому: вид взволнованный, платье новое, прическа тоже новая — строго, но изящно. Села. Закинула ногу на ногу. Понятно: это чтобы лучше разглядели, какие у нас колени и вообще. И замечательные тужельки, последний крик. Где они их берут? У Варьки таких отродясь не было. И не будет. Не умеет достать, дуреха. Да и зарплата — того... Да и тетка в деревне.

— Знаете что, Лариса, — сказал Мокшин очень вежливо, — я лучше зайду как-нибудь в другой раз. Насколько я понимаю, вы меня сюда вызвали не для делового разговора. А к неделовому я не способен. Настроенное плохое, еще нахамлю.

— А другого раза не будет, — кокетливо сказала Лариса и покачала своей красивой ногой. — Мы теперь долго не увидимся.

— Едете в отпуск? — учтиво спросил Олег.

— М-м... допустим.

..Ну, хорошо. А дальше? Да, был у нее на дне рождения. Понял все взгляды, намеки и прикосновения. Танцевали, и я, как воспитанный человек, говорил комплименты. Но, когда было предложено остаться, чтобы «помочь убрать», — ушел. Ушел! И, знаешь что, втянуть меня сейчас в тягостный разговор я не дам... Хватит уже объяснений, сыт по горло.

— Ларочка! — очень оживленно заговорил Мокшин. — Я искренне рад, что вы наконец вырветесь из постылых стен нашего офиса. Поезжайте. Загорайте. Сводите с ума мужчин. Влюбитесь в хорошего, красивого и перспективного физика. Или в генетика. Он несомненно ответит вам взаимностью. А я с восторгом и букетом роз прибегу на вашу свадьбу.

Уф-ф-ф...

Лариса все улыбалась, хотя на шее выступили красные пятна.

— Благодарю за пожелания, они очень уместны, — она поправила на коленях юбку, — самое трогательное в них — поспешность. Должна сказать, дорогой Олег Николаевич, что ваше самомнение выглядит довольно смешно...

..Врет. Все врет. И понятно: женское самолюбие. Конечно, обиделась, вон и щеки покраснели, а в глазах тоска, даже сквозь праведный гнев видно...

— Вы можете сколько угодно воображать себя плейбоем, дело ваше, но это еще не значит, что каждая женщина только и ждет, как бы признаться вам в любви.

...Все поняла. Молодец, ей-богу!..

— Я просила вас зайти потому, — продолжала она, становясь все более официальной и надменной, — что

завтра меня уже не будет, а тут лежит документ, с которым вам будет интересно ознакомиться.

Лариса встала, взяла с директорского стола какую-то папку, вынула из нее листок и протянула Мокшину.

Вот это да!

В заявлении на имя директора института копировщица А. Я. Зленко требовала немедленно перевести ее в другую группу. С товарищем Мокшиным О. Н. работать ей стало невозможно из-за его постоянных придинок и, главное, из-за безобразного, неуважительного отношения к подчиненным, непомерного самомнения и нежелания ни с кем и ни с чем считаться. Если дирекция, говорилось в конце, не отреагирует на это заявление должным образом, Алевтина Яковлевна будет вынуждена уволиться.

— Ну как?

— Свинство... — спокойно сказал Мокшин, — свинство и клевета. Ни к кому я не придирался. Просто люди не выносят, когда им говорят правду.

— Почему это, интересно, вы решили, что ваше личное мнение и есть правда? — задиралась Лариса. Но Мокшину было не до нее.

— Пока я давал им консультации, как похудеть, да истолковывал сны, был «самый обаятельный» и «самый человечный», а как вместо этого потребовал работу, сразу стал безобразный и неуважительный.

— При чем здесь сны? Почему вы считаете всех глупее себя? — она явно мстила за разочарование, за унижение, которое только что так мужественно пережила. — Мне, например, вы в прошлый раз тоже не стали гадать, я же не злюсь.

— Да вы-то тут при чем?! Вам, если уж на то пошло, я не стал гадать в ваших же интересах.

— То есть как это?

— Лариса, хватит, не до того.

— Но почему же вы все-таки мне не стали гадать?

...До чего настырна... Ну, получай...

— Да потому, что у вас рука... ненормальная. Плохой получается прогноз.

...Нет, какова Алевтина?

— Что значит «плохой прогноз»?

— Да дьявол возьми, охота вам! Плохой, бессмысленный. Вас, Ларочка, согласно этому прогнозу, вообще уже нет на свете. Вы в раю. Играете на лютне или на чем там? На арфе. Под сенью куш. В самом крайнем случае, попадете туда сегодня. Вот сейчас на нас с вами обрушится потолок... Директор уже видел эту клязузу? А? Лариса?

Лариса стояла с застывшим белым лицом, держа перед собой ладонь и с ужасом вглядываясь в нее, точно это был чужой опасный предмет. В третий раз за последние сутки Мокшин видел такое выражение лица. Вчера — Варвара, потом мать и вот теперь... Беззвучно шевеля губами и все так же держа руку на отлете, Лариса начала пятиться к двери, запнулась и упала бы, если бы Мокшин не успел подхватить ее. Он чувствовал, как она дрожит, да нет, пожалуй, это нельзя было назвать дрожью — ее било, трясло, колотило так, что стучали зубы. Мокшин посадил ее в кресло, и она сразу поникла, а лицо закрыла руками.

Это был уже перебор. Опять истерика, еще одна, не многовато ли? А, так тебе и надо, Мокшин, не связывайся. Дамский угодник выискался — объяснения, драмы, слезы. В отделе три четверти баб — вот вам и обиды, сказать ничего никому нельзя.

Лариса не двигалась. Он налил в стакан воды из графина.

— Лариса!

Она не шевельнулась.

В приемной застучали каблучки.

— Олег Николаевич! Вас ищут, там собрание... — Это была Майя Зотова.

— Тут Ларисе Николаевне... плохо, — буркнул Мокшин. Этого еще только не хватало, сцена у фонтана при свидетелях.

В темном коридоре он чуть не наскочил на шагающего навстречу товарища Жукова.

— Куда это ты, Олег Николаевич? Собрание в зале. Явка обязательна для всех.

— Да отвяжитесь вы! — рявкнул Олег и, не замедляя шага, проскочил мимо. Больше он никого не встретил.

В рабочей комнате не было ни души. Только кулманы стыдливо белели брошенными листами чертежей. Он взглянул на часы: до обеденного перерыва еще далеко, это что же такое, демонстрация? А-а... да, собрание... Кажется, провозжают на пенсию Тихомирова из тринадцатого отдела, моего «предшественника»... Мокшин усмехнулся.

Потом он пытался звонить домой. Не дозвонился. Набрал номер Варвариной работы — «Варвары Александровны нет на месте». Через пять минут телефон снова сообщил: «Варвара Александровна вышла». А окажись она на месте — что тогда?

Тогда он мог бы сказать ей, что ему тошно, что он, как бы там ни было, плохо себе представляет свою жизнь без нее.

Выходит, вчера он говорил неправду? Нет, вчера он говорил то, что думал. Но ведь и это, сейчас, тоже истинная правда. Еще, пожалуй, он мог бы сказать... но сказать было некому: телефон в третий раз не без злорадства доложил, что Варвара Александровна на отделении. Когда будет? Об этом телефон не имел понятия, ему, телефону, Варвара Александровна не докладывает.

За окном пошел дождь. В соседней комнате тишина, и Мокшин вдруг поймал себя на том, что ему страшно. Страшно услышать там их шаги и голоса.



Некоторое время он понуро сидел за столом. «Все могут короли, все могут короли...» В голову назойливо лезли слова дурацкой песенки. А почему дурацкой? Варькина любимая песня... «Но что ни говори, жениться по любви...» Телефон искоса наблюдал за Мокшиным.

Дверь отворилась, и на пороге возник Жуков, дорогой пачальник, не поленился лично прийти. Лично! В целях руководящего взыскания.

— Озверел? — поинтересовался Жуков, садясь напротив Мокшина на «стул для посетителей». — Совсем уже взбесился? Старика Тихомирова уважить не можешь?

Выговор есть выговор, независимо от того, делается он в официальной форме или вот так, псевдодружески. Так даже противнее. Мокшин молча сидел с каменным лицом и холодно разглядывал Жукова. Обычно Жуков носил довольно безвкусный темный костюм, а тусклые, плохо отглаженные рубашки украшал не менее унылыми галстуками. Сегодня он вырядился в джинсы и черный свитер с пузырями на локтях — видно, решил начать новую жизнь современного руководителя западного толка, отсюда и тон. Пожалуй, не так глупо, о чем Мокшин тут же и сказал в лицо начальнику, — делать карьеру, так уж делать ее как следует, молодец. На эти слова Жуков загадочно усмехнулся и спросил Олега, почему он последнее время всем без разбору хамит и что же все-таки плохого ему сделал несчастный Тихомиров.

— Про старика я забыл, — признался Мокшин. — И он, я думаю, без меня обошелся. Тем более что мне вроде собираются дать его отдел, о чем ему уже, конечно, доложили. Наверняка это все трепотня, да я и не соглашусь, но слухи ходят.

— Поэтому ты всем и хаминь?

— Ладно, — миролюбиво сказал Олег, — если нас-

чет Зленко, то с ней я и верно того... Только надоела уж очень.

— Да черт с ней, со Зленкой, — отмахнулся Жуков, — читал ее кляузу, пускай увольняется. Скверная баба, склочница, я директору так и сказал. Но ты же не только ей, ты всем без разбору врезаешь, люди вон, забитые, в воду опущенные ходят, страх глядеть.

— Говорю то, что есть. Правду.

— Да с чего ты взял, будто все, что ты думаешь, — правда?! Ясновидец какой нашелся! И потом — правда правдой, а жестокость-то зачем?

— Вас понял. Сейчас мне сурово сообщат, что выкладывать гестаповцам, где партизаны, — нехорошо, а также не стоит объявлять больному, что у него рак и он скоро умрет. Да? Так вот: это все экстремальные дела, а в обычной жизни лучше все-таки смотреть фактам в лицо. Не обижайся.

Радостная улыбка Жукова выглядела прямо-таки вызывающе.

— Можешь не оправдываться, тут у тебя полный о'кей, со мной все получилось как надо. А вот с Тихомировым, с другими... не знаю...

— Извини, — Мокшин перебил Жукова, — мне надо позвонить.

Дома все еще не отвечали, а у Вари было занято, и Олег положил трубку: не исключено, что она как раз звонит сюда. Но телефон молчал.

— Слушай, Вова, скажи честно, ты зачем сюда пришел? Чтобы я у тебя прощения просил? Чтобы успокоил: мол, пошутил я тогда, не бери в голову, ты дельный инженер и тэ дэ?

— Не угадал. Я порадовать тебя хотел. Ухожу от вас.

...В конце концов, к Варваре можно просто пойти вечером домой. Без всяких звонков и договоренностей, глупо же устраивать драму из пустяка. Подумаешь — по-

вод для скандала: «Что было бы, если бы через сто лет...»

— В отпуск, что ли?

— В никуда, — с удовольствием объявил Жуков. — Искать по свету. Директору сказал, что нашел место, где больше платят. Ну, что уставился? Чистая правда, столь тобой любимая. Ухожу в никуда. На улицу. А ты, дурак, знай, что ты мой благодетель.

— Ты что?!

— А то. Десять лет... погоди... двенадцать исполняю роль инженера. Как в театре. Ну, сваял дурака, пошел в технический вуз, так что же теперь, до пенсии отбывать? А потом с чистой совестью на свободу? Долг свой за обучение я уже отработал, пойду хоть водителем на поливальную машину, у меня как раз права есть, а там, говорят, с дипломом берут — дефицит рабочей силы. Или в зоопарк, к слону. Да хоть телеграммы разносить! И как это мне, самодовольному дебилу, за столько лет никто ни разу не сказал? Ты пришел и сказал. Такие дела... Ну и рожа у тебя! Вот и сиди с ней, а я пошел. Мне еще две недели отработывать, и я хочу все оставить в идеальном порядке. Чтобы все жалели: от нас ушел замечательный работник и чуткий руководитель. Я ведь тщеславный — жуть!

16

Спокойно. Что, собственно говоря, случилось? Сейчас соберемся с мыслями и все поймем. Так. Жуков, значит, решил уйти. Бросает работу, которая его *не устраивает*. При чем же здесь я со своей прямоотой? При том. Все очень даже хорошо — я ему помог, он мучился и мог до самой пенсии промучиться, а я сказал — и он решился. Вот тебе и Володька! Хотя все, конечно, скажут, что псих... Все хорошо, понял ты?! В этом случае все нормально. Так, дальше... Только бы никто не лез, не приставал с вопросами, с разговорами...

Майя вошла тихо, он даже не слышал. Она стояла перед столом и смотрела своими печальными газельими глазами.

«Жалеет, — подумал Мокшин, — знает про Зленкино заявление, Лариса сказала».

На длинных Майиных ресницах набухли две совершенно одинаковые круглые слезы и одновременно очень аккуратно упали на щеки.

— Жалко, — всхлипнула Майя, — ужас какой с Ларисой.

...Ах да, в самом деле. Еще ведь и Лариса в истерике. М-да...

— У нее что, нервы не в порядке?

— Тут у кого хочешь нервы сдадут, что вы! А вы разве не знаете? Все знают. Помните, мы на позапрошлой неделе на флюорографию ходили? Вы еще не пошли. Ну вот... У нее что-то обнаружили, что-то в легких, понимаете? Она очень переживает и нервничает, завтра на обследование ложится. Ну вот...

Что она там еще говорила? Быстро-быстро, тоненьким своим голоском. И слезы, аккуратненькие, блестящие, как бусинки, сыпались на щеки.

17

Он выбежал под дождь и только на трамвайной остановке обнаружил, что держит шляпу в одной руке, плащ — в другой, а портфель оставил на работе. Черт с ним, с портфелем! Черт с ним, с дождем! Со всем!

Кое-как, сунув руки в рукава плаща и нахлобучив шляпу, Олег втиснулся в первый же подошедший трамвай, даже не взглянув на номер. Вагон был набит, молоденькая девушка поспешно уступила Мокшину место.

«Вот на таких ты и поглядываешь как на потенциальных невест, а они тебе места уступают, скоро папашей называть начнут», — скорбно подумал Олег, однако

сел — ноги не держали, почему-то накатила страшная слабость и сонливость. И он заснул.

Спал Мокшин недолго, от силы пять каких-нибудь минут, и проснулся, как прошлой ночью, от толчка.

...Трамвай стоял на остановке, вагон наполовину был пуст и продолжал пустеть прямо на глазах. Подталкивая друг друга в спины, люди, не оборачиваясь, торопливо и беззвучно выходили в переднюю дверь. Когда вышел последний, Мокшин понял, что проспал, не слышал объявления водителя, а трамвай сейчас пойдет в парк. Он засуетился, встал, но в это время двери закрылись, трамвай сорвался с места и двинулся, набирая скорость. На заднем стекле нелепо перекрещивались две узкие полоски бумаги. Где он видел их? Совсем недавно это было...

За окном тащились незнакомые окраинные улицы. Серые, осевшие, нежилые дома, сараи, какие-то склады. Один склад, казалось, не имел конца, все длился, длился. Потом начались новые кварталы — шлаки и блоки, стекло и бетон. Подъемные краны, бульдозеры. И все это было неживое, брошенное, все стояло без движения, замерев. Только дождь упрямо и непреклонно сыпал с низкого неба. Осенним казалось это грязноватое рыхлое небо, и разгвазданные пустыри, и одинокое растерянное дерево, забытое посреди строительной площадки. Высокий недостроенный дом напомнил сломанный зуб.

И город внезапно кончился. Трамвай несся теперь так, что у Мокшина все плыло в глазах. Последний признак города — кучи строительного мусора — и те исчезли. Черные, плоские, серые поля тянулись по обеим сторонам трамвайной колеи. Мокшину показалось, что трамвай начинает притормаживать. Определенно, они ехали теперь гораздо медленнее. И остановились.

Мокшин увидел, как водитель выходит из своей кабины, как приближается по проходу. На кого-то он похож... Разве разглядишь лицо, когда оно до половины скрыто дурацким шарфом, а до бровей нахлобучена безобразная старая шляпа.

— Понимаешь, — сказал водитель, усаживаясь рядом с Мокшиным, — такая история: идут двое и видят драку. Там посреди дороги лежит шар, и вот два мужика дерутся. Один кричит, что шар белый, а другой — что черный. Эти двое, которые, значит, идут, остановились. Один из них говорит: «Вообще-то приближенно можно считать, что шар черный, потому что он коричневый». Другой как вскинется: «Ты что, ослеп? Он желтый!» — «Желтый?! Да ты...» Слово за слово, и разодрались тоже. Ну, сам понимаешь, за ними появились еще двое. И еще. Часу не прошло, а там такая драка, жуткое дело. Припелся еще один старик: «Вы что, ребята, с ума походили? Какой вам шар? Нету никакого шара». Они и ему дали по ушам. Скоро такая толпа собралась, конца краю не видно, и все дерутся. И все орут: «Белый! Желтый! Черный! Лиловый! Красный! Голубой!» Ну, дерутся, аж кости трещат. Страшное дело.

— И дальше что?

— Все.

— Бред какой-то.

— А хочешь знать, какой был шар? — наклоняясь к Мокшину, спросил водитель и подмигнул.

— Ну?

— Лапезовый.

— Чего?

— Пусинный, говорю, гутяевый.

— Гутяевый, значит? — громко спросил Мокшин и взял водителя за плечо. — Будем, значит, ребята, врать направо и налево?

— Ты на меня собак не вешай, — водитель убрал руку Мокшина и поднялся, — правда — дело святое. Прав-

ды и Мамай не съел, слышал поговорку? Правда — это правда. А есть еще... милосердие называется. Красиво? Мило-сердие...

Очень медленно трамвай двинулся с места. Водитель с индифферентным видом смотрел в окно. Снова по обе стороны тянулись и тянулись черные пустые поля. Только их видел Мокшин, а еще — горизонт.

19

Дождя здесь не было. Четкой линией горизонт отделил землю от бледнеющего вечернего неба. Трамвай шел к горизонту.

Горизонт приближался. Когда до него осталось всего каких-нибудь сто метров, вагон резко затормозил и все двери открылись. Мокшин вышел, разминая затекшее тело. Уже начинало темнеть. Трамвай стоял, передние колеса его зарылись в грязь. Пахло полынью, хотя ни единого стебелька нигде не было видно. Ни травинки.

Потоптавшись у вагона, Мокшин неуверенно двинулся вперед, к горизонту.

Из-под обрыва потягивало холодом. В черной глубине, посвечивая, не торопясь проплывали созвездия. Двигался, разворачиваясь, сносимый течением ковш Большой Медведицы. Легкая и плоская, как фанерка, скользнула луна. Мелкая россыпь блестящих звезд рыбачьим косяком промчалась мимо.

Мокшин поднял голову. Небо над ним было по-весеннему высоким и светлым, с неяркими внимательными звездами.

«Небеса», — подумал он и хотел иронически усмехнуться, но усмешки не получилось.

Небо светилось над его головой и впереди. И слева, где слабо мерцали городские огни. И справа, и за спиной. Везде.



Да, ну и что? Я превратил его в озеро, — сказал Фамильев и аккуратно отряхнул пепел в деревянного лебедя с дыркой вместо спины. — Ну и что? Во что хочу, в то, между прочим, и превращаю.

— Да что он вам сделал?!

— Надоел. Обыкновенно опостылел. Одно его занудство... да что там, и говорить-то о нем неохота.

— Неправда! Вы придираетесь! Я его люблю!

— А я-то при чем?.. И какие же вы все, девки, дуры. Он на нее плюет, а она его — нате! — любит...

— Я прошу вас!

— Напрасно унижаешь себя, ты — девушка. Тем более помочь тебе я все равно не могу: его уже нанесли на карту. Какие вы все, молодые, глупые...

— Ну и что же, что нанесли? Пусть озеро так и будет, а его верните.

— ...и, к тому же, безграмотные. Простых законов природы и тех не знаете. Ни-что — поняла? — не исчезает и не возникает! Ясно? А только переходит из одного вида в другой. Из одного — в другой! Из одно...

— Да я жить без него не могу! Понимаете вы это?!

— Из одного, говорю, — в другой. Не понимаю. Главное дело — «верните». Ишь! А озеро? Его на карту нанесли, и это для меня большая честь.

— Сделайте же хоть что-нибудь!

— А чего ты, собственно, так стараешься? Ты-то ведь ему не нужна, насколько мне известно? Он, когда здесь еще был, когда мне, понимаешь, нервы мотал, тебя, голубушка, помнится, и в упор не видел. А?

— Да не надо мне от него ничего!



— Ну вот. Теперь еще, понимаешь, .. сырость мне будете в кабинете разводить. Я... вот что, скажу тебе адрес. Поедешь, посмотришь... водоем. Гарантирую, ему там хорошо, даже прекрасно.

— Куда ехать?

Фамильев оторвал вчерашний листок перекидного календаря, взял ручку и задумался. Потом быстро написал несколько строк и протянул листок девушке.

— Зачем вы мне — широту и долготу? С какого вокзала?

— С Московского. До Любани, а там — автобусом. А координаты — это я так. Просто приятно. Научно.

Озеро было похоже на глаз. Черное, продолговатое, чуть выпуклое, в низких болотистых берегах.

«Как здесь уныло», — думала девушка, пробираясь к берегу босиком, с туфлями в руках. Мох покачивался, прогибался под ногами, и в следах сразу выступала ржавая вода.

«Провалишься — никогда не найдут. Ну и пусть. Господи, как тоскливо, — ни птиц, ни деревьев. Разве это деревья? Хлыстики какие-то!»

Вода казалась слепой: ни дна, ни водорослей. Только отражения серых, клокастых туч, осенних и тяжелых, мрачно плыли по поверхности.

— Дождь будет, — прошептала девушка, глядя на эти отражения. Она подняла голову. Синее, ярко-синее небо усмехалось ей с высоты. Тучи в озере сделались черными, отражение молнии вспыхнуло на воде и погасло, а вода съезжилась и пошла кругами, точно от проливного дождя. Небо по-прежнему оставалось синим и ясным.

Она спустилась с берега к воде и тотчас провалилась по колено в топкую трясиину. Завернувшись крутыми лобастыми волнами, вода начала отступать, обнажая илистое дно.

— Куда ты? Это же я! Куда ты?!

Вода отступала. Волны жались к противоположному берегу, сталкиваясь, пенясь и вздрагивая, голое дно щерилось на нее черными корягами, скрюченными безлистными ветками, скалило обломки сгнившего пня.

— Ну, как хочешь, я уйду. Я ухожу, видишь? Только успокойся — я ухожу.

Она выбралась на берег, оцарапав ногу. Все еще вздрагивая и волнуясь, озеро утихало. Вот оно заняло свои берега, снова сделалось гладким, и опять поползли по нему отражения черных туч.

— Ну, убедилась? — буркнул Фамильев. — Судя по твоим глазам, любимый принял тебя без восторга.

— Он совсем один, кругом это болото. Он не видит даже неба, только какие-то страшные облака, которых нет.

— Да ему где угодно будет одно болото и эти... Доброе слово он сказал когда хоть кому-нибудь?

— Я прошу вас!

— Из одного вида — в другой. И не иначе.

— Зачем вы издеваетесь?

— Но-но! Без болтовни. Я — начальник, это моя профессия. А ты хочешь, чтобы я... тьфу!.. творил добрые дела. Добрые ли еще... Я давно заметил, что у современной молодежи совершенно отсутствует представление о логике. Вот и он, этот, твой... Теперь он, видите ли, смотрит на какие-то облака, которых нет. Стало быть, я был прав. Мы, начальники, больше всего ценим логику и здравый смысл.

— Ему плохо!

— Плохо? Вот и хорошо.

— Вы всегда к нему придирались! Ну пожалуйста! Я же не за него прошу, сделайте для меня, пусть тогда я стану озером, раз уж нельзя по-другому.

— Ты?! Зачем это тебе? Совсем девчонка соображение потеряла! Одна. Навсегда. В болоте.

— Да.

— Ты это понимаешь?

— Да.

— Знаешь, а ты меня начинаешь раздражать. Ты ведешь себя до того нелогично, неразумно и просто глупо, что, кажется, я соглашусь.

Озеро похоже на глаз. Синий и глубокий, отражает он небо, и солнце, и радугу, и тонкие весенние облака.

Зимой озеро не замерзает, вода его спокойно плещется среди белых, застеленных сугробами берегов. Говорят, где-то на дне бьет из-под земли теплый ключ.



## ОКНО

В нашей квартире все окна выходят во двор. И зимой, и летом, и в плохую, и в солнечную погоду вижу я желтую стену, перечеркнутую водосточной трубой, вижу чужие окна и, если подойти к стеклу совсем вплотную, сверху — кусок неба. Вот по этому куску только и можно понять, какая погода. По стене тоже иногда можно — в мороз она слегка серебристая, в дождь почти черная, а когда светит солнце, еще желтее, чем всегда.

Окна мы открываем редко, только форточки. Незачем: двор у нас пыльный, деревьев там нет. Вот когда моем окна весной и осенью, тогда открываем. И все.

А в комнате отца окно не открывается никогда, там

у рамы даже петель нет. Отец протирает стекла сам, мокрой тряпкой.

Когда я была маленькой, мне не разрешали подходить к этому окну, да и вообще в отцовскую комнату пускали редко. Там было неинтересно — горела под потолком тусклая лампочка, со стен смотрели мимо меня незнакомые пожелтевшие лица каких-то военных, старая географическая карта, утыканная флажками, висела над письменным столом, а окно всегда пряталось за тяжелой зеленой шторой.

Однажды — мне было тогда лет десять — мы долго ждали отца к обеду. Он не пришел, и мы сели за стол вдвоем с мамой. Потом наступил вечер, я сидела с ногами на диване и читала «Таинственный остров». Очень тихо было в квартире — ни маминых шагов, ни шума воды на кухне, даже телефон молчал. Я закрыла книгу, загнув угол недочитанной страницы, что было запрещено, слезла с дивана и вышла в коридор. Мамы не было ни в кухне, ни в столовой, ни в спальне. Я заглянула в комнату отца и увидела ее, облокотившуюся на подоконник, неподвижную. Я подошла на цыпочках и встала за ее спиной. Край шторы был отодвинут, за окном с черного неба смотрела большая круглая луна. Она висела над поляной, покрытой выцветшей, белесой травой, над невысоким деревенским домом на взгорке, над темными кронами каких-то деревьев.

С минуту я смотрела на эту поляну. Мать не шевелилась, и тогда, стараясь не скрипнуть половицей, я прокралась назад, к дверям, бегом бросилась по коридору — на лестницу, спустилась и выбежала во двор. На желтой стене — сейчас она казалась серой — горели вечерние окна, около мусорных бачков разлегался на лунном пятне черно-белый помойный кот, грохот трамваев врывался в узкое горло ворот и, пометавшись по двору, гас. Я нашла на втором этаже наши окна. Вот — мое, вон там — столовая, а вон — зеленая штора, она чуть отодвинута и

там — мамин силуэт, лица не видно. Дом у нас пятиэтажный, и окно смотрело прямо в стену напротив, в желтую знаковую стену.

Часто потом я заставляла маму одну вот так, у окна. Часто мы молча сидели с ней рядом по вечерам или днем и смотрели на поляну. Теперь я уже знала: деревья возле дома — тополя, поляна вся изрезана узкими канавами и рвами, трава кое-где обгорела, рядом с домом валется корнями вверх засохшая береза без листьев, а в самом доме окна, неизвестно зачем, заколочены досками.

Проходили годы, а поляна не менялась, здесь всегда стояло лето, и тогда, когда за окном моей комнаты падал снег, и осенью, и ранней весной. Листья на тополях всегда оставались зелеными, белый пух срывался с веток и медленно кружил над поляной. А скворечник, прибитый к высокому шесту рядом с домом, год за годом оставался нежилым, висел на одном гвозде вверх ногами. Дверь дома была всегда закрыта, на поляне — никого.

Как-то мы сидели с мамой у окна поздно вечером в конце декабря, перед самым Новым годом. Отца опять не было дома, он теперь уходил часто и надолго. Мы вдвоем украсили елку, сели у окна в отцовской комнате и отодвинули штору. Было уже очень поздно, но мать почему-то не гнала меня в постель. За окном стояла такая чернота, что я ничего не могла рассмотреть — ни поляны, ни дома. Но вдруг узкая красноватая полоска затлела в темноте, она становилась шире, и я увидела открытую освещенную дверь дома и на пороге какую-то фигуру. И тут же раздался грохот, удар, будто началась гроза. Фигура метнулась, свет погас, я вскочила со стула, но мать задернула штору и неожиданно резко толкнула меня к дверям.

— Спать, — сказала она, — двенадцатый час, немедленно спать!

---

Все это было давно, в детстве. Уже много лет мы с отцом живем одни в нашей большой квартире окнами во двор. Трудно теперь отцу выходить из дому, и все-таки он уходит, уходит даже чаще, чем при маме, и исчезает иногда на целый день, а иногда и до утра. Я сижу и жду около окна, но как только дверь дома на поляне начинает отворяться, сразу задергиваю штору и бегу вниз по лестнице — встречать. Я беру отца под руку, и мы медленно поднимаемся вместе, часто останавливаясь на ступеньках, чтобы передохнуть.

Вчера, уходя после обеда из дому, отец выглядел таким старым, таким похудевшим и больным, что я стала его отговаривать:

— Не ходи туда сегодня, — просила я, — посмотри, какой дождь на улице.

Он молча падел свой старый защитный плащ с капюшоном и ушел.

К вечеру дождь стал еще сильнее, подул ветер. Водосточная труба напротив моей комнаты гудела и тряслась. Желтая стена стала черной от воды. Начало темнеть, а отца все не было. Как всегда, я пошла в его комнату и села у окна.

Никогда раньше не видела я поляну такой, как сегодня. Ветер раскачивал тополя и тряс ветки мертвой, перевернутой березы, дождь хлестал по крыше заколоченного дома, потоки воды мчались по склону взгорка, заливая рвы и воронки. В небе сверкнуло, раздался гром, даже через наглухо закрытое окно был слышен его грохот и треск. Дождь лил такой, что ничего почти за окном не было видно, но все-таки я разглядела, как медленно-медленно открывается дверь. Снова сверкнуло, почему-то низко, у самой земли. И загрохотало. Дверь распахнулась настежь. Я должна была встать и уйти, но не смогла, я смотрела. Согнувшись, прижимая к груди автомат, мой отец спустился с крыльца. Я должна была уйти. Он ступил на землю, и тут же опять загремело. Справа и сле-

ва под ногами у него взвились черные фонтаны не то воды, не то земли. Медленно, будто дождь давил ему на плечи, шел он вперед, по поляне, а грохот уже не прекращался ни на секунду, красные какие-то огни вспыхивали повсюду. И вдруг отец пошатнулся.

Я бросилась к окну и обеими руками вцепилась в забитую раму. Рама не подавалась, за окном гремело, выло, сверкало. Я схватила с подоконника тяжелую вазу и изо всех сил ударила ею в стекло. Раздался звон, шум дождя и сырой воздух ворвались в комнату. И грохот утих. За окном тускло светились завешенные струями воды знакомые окна на знакомой желтой стене, впрочем, сейчас не было видно, какого она цвета. За окном был наш двор с резким, отмытым запахом машин, с куском неба в форме трапеции. Сейчас из этой черной трапеции падал дождь, обычный дождь, без молний. Грозы не было.

Я постояла перед разбитым окном, потом бросилась на лестницу. Я бежала через две ступеньки. В подъезде застегивали плащи, раскрывали зонты какие-то люди — дождь стихал, можно было выйти на улицу. Я ждала. Прошло, наверное, минут двадцать, ночное небо над двором посветлело, отец не приходил. Тогда я вернулась в квартиру и пошла к нему в комнату. Штора пузырем вздулась от сквозняка, карта с шуршанием раскачивалась на одном гвозде. Бумажные флажки рассыпались по полу. Из окна в комнату смотрел наш двор, что-то кричала, кого-то ругала дворничиха, наверное мужа своего, алкоголика. И голос ее тоже был ясным, отмытым.

Я прождала отца всю ночь. Я обегала соседние улицы, хотя знала, что не найду его там. И все же я позвонила в «скорую помощь». Мне ответили, что такой-то в военном плаще ни в одну из больниц города не поступал.

— Сколько ему лет? — спросили меня.

— Семьдесят два.

— Так чего ж вы хотите?

Я хочу, чтобы он вернулся домой. Стекольщик из соседнего магазина вставил стекло в его комнате. Стекло мутно-зеленое, бутылочное, когда смотришь сквозь него, кажется, будто наш двор на дне непроточного озера.

— Потому что рама у вас — разохши... — объяснил стекольщик.

Сейчас уже темно. Уже поздно. Больше суток прошло, и бесполезно сидеть тут одной у окна с зеленым стеклом, бессмысленно смотреть во двор, где сосед укутывает брезентом на ночь своего «Запорожца», бессмысленно и глупо без конца вглядываться в стену, за которой — улица с трамваями, а за ней — другие стены, другие улицы, и трамваи, и окна.

Ветер принес откуда-то хлопья тополиного пуха, и теперь они бьются в зеленое стекло мягко и бесшумно, как ночные бабочки.

Странно это. Около нашего дома нигде не растут тополя.



## СО Д Е Р Ж А Н И Е

Дорога . . . . .	3
Волшебная лампа . . . . .	45
Чудовище . . . . .	58
Кусок неба . . . . .	66
Прохор . . . . .	68
Сорокопуд . . . . .	72
Коллекция доктора Эмиля . . . . .	86
День рождения . . . . .	133
Охо-хо . . . . .	137
Нагорная, десять . . . . .	140
Все что угодно . . . . .	153
Человек Фирфаров и трактор . . . . .	164
Безответная любовь . . . . .	174
Первая ночь . . . . .	183
Зелье . . . . .	197
Озеро . . . . .	247
Окно . . . . .	250

НИНА СЕМЕНОВНА КАТЕРЛИ

## О К Н О

---

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1981, 256 стр. План выпуска 1981 г. № 35. Редактор Ф. Г. Кацас. Худож. редактор М. Е. Новиков. Техн. редактор Л. П. Полякова. Корректоры Е. А. Омеляненко и Ф. С. Флейтман. ИБ № 2767. Сдано в набор 8.01.81. Подписано к печати 17.04.81. М 17466. Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 11,2. Уч.-изд. л. 11,54 Тираж 30 000 экз. Заказ № 81. Цена 85 к. Изд-во «Советский писатель», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Невский пр., 28. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3.

85к.

